А. Александров
С. Соловьев

Сто дней после детства

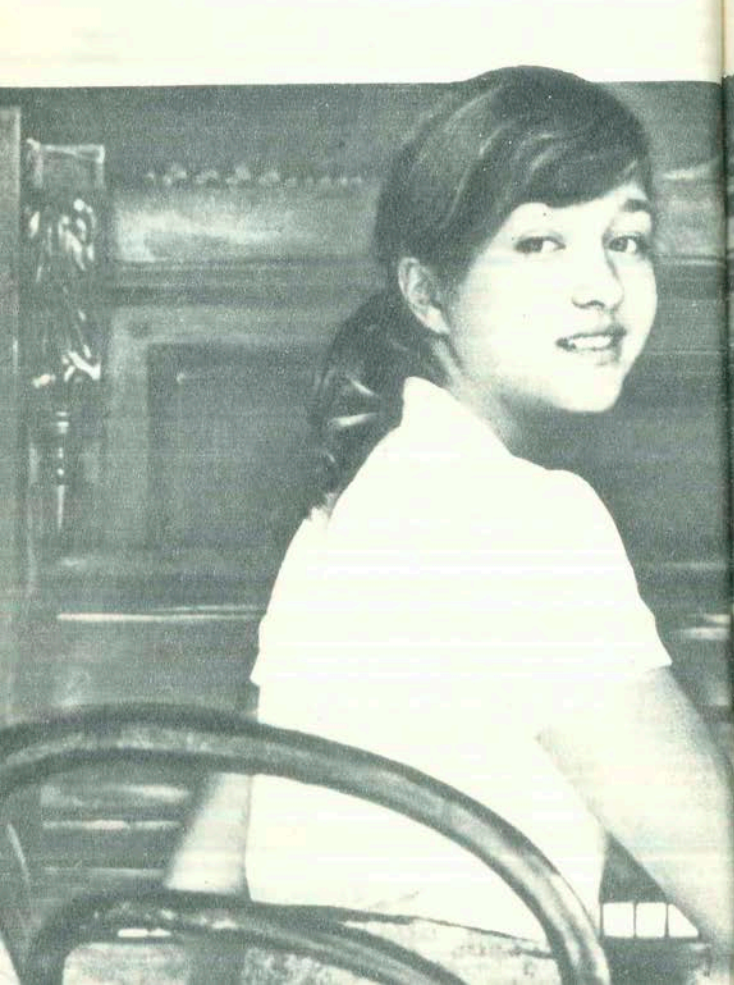
Александров Александр Леонардович родился в Москве в 1947 году. После окончания средней школы работал почтальоном, грузчиком, рабочим сцены, художником-оформителем. В газетах и журналах опубликовал ряд детских стихов. Работал для радио — был автором документального радиоспектакля о А. И. Герцене. В 1971 году закончил режиссерско-театральное отделение Московского государственного института культуры. По окончании института преподавал эстетику в средней школе. В 1975 году закончил сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Сценарий «Сто дней после детства» — дебют А. Александрова в художественном кинематографе. По его сценариям на Киностудии им. М. Горького поставлен фильм «Дикая утка», на «Мосфильме» — «Голубой портрет моей мамы».

БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГИИ

Москва, «Искусство», 1976

А. Александров
С. Соловьев



Сто дней после детства

Киносценарий

778С
А46

Александров А., Соловьев С.

А46 Сто дней после детства. Киносценарий. Вступит. статья Л. Арнштама. М., «Искусство», 1976.

104 с. с ил. (Б-ка кинодраматургии).

Сценарий молодых кинематографистов — кинодраматурга А. Александрова и кинорежиссера С. Соловьева посвящен важной теме становления характера, воспитания чувств. Герои сценария — советские ребята-старшеклассники.

А $\frac{80106\text{-}192}{025(01)\text{-}76}$ 99—105-76 778С + Р'

© Издательство «Искусство», 197

Лицо поколения

«Сто дней после детства». Первый современный фильм молодого кинорежиссера Сергея Соловьева. И первый сценарий молодого писателя Александра Александрова. Сценарий написан им в содружестве с Соловьевым. Содружество это не случайное.

Когда в 1968 году студент-дипломник ВГИКа Сергей Соловьев появился на «Мосфильме», ему было всего 24 года и он был самым молодым режиссером советского кинематографа.

Во ВГИКе Соловьев учился у прекрасных мастеров — сначала у М. И. Ромма, потом у А. Б. Столпера. Уже на первом курсе он удивил своих педагогов, написав сценарий просто о том, как люди смотрят на эрмитажную «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи.

Человек дня сегодняшнего — и его взгляд, устремленный к совершенной красоте искусства, выразившего идеальную гармонию мира! Каков он, этот взгляд? И каким отвечает ему Мадонна? Вот, что хотелось увидеть Соловьеву. Небольшой фильм «Взгляните на лицо» сняли по его сценарному плану талантливые документалисты П. Коган и П. Мостовой.

«Взгляните на лицо» — запомним это, и не только потому, что фильм получил золотую медаль на Фестивале короткометражных фильмов в Лейпциге.

Дипломной работой Соловьева была экранизация рассказа А. Чехова «От нечего делать». И хотя подзаголовок «Дачный роман», данный самим Чеховым, как бы заранее предопределял всю неизбежную пошлость обыденности поведанной им небольшой истории, молодой режиссер, пристально вглядываясь в обыденные до отчаяния лица ее героев, шаг за шагом следуя за всеми их ядовито-пошлыми поступками-действиями, сумел услышать иной звук —

щемящую ноту тоски самого автора рассказа по иной и, наверное, прекрасной жизни. Можно смело сказать, что дипломный фильм С. Соловьева украсил собой чеховский киноальманах, создаваемый в то время на «Мосфильме».

Для этого же альманаха Соловьев снял чеховское «Предложение», и заигранная до стертости любителями всех рангов «шутка» Чехова в озорной трактовке Соловьева смотрелась как бы совершенно заново. Бродили по экрану в черных потертых фраках шестеро музыкантов, внося путаницу в не слишком запутанные ситуации чеховской пьески, распевала жестокий романс непреклонная невеста, пуская пузыри, плескался в воде чахлого озерца ее папенька... Чего-чего только не было в этом небольшом фильме!

Но, главное, в нем присутствовал чеховский добрый юмор, тонко прочерченный всеми новациями режиссера.

Так с помощью А. П. Чехова Сергей Соловьев блистательно выдержал свой первый киноэкзамен. Второй был значительно сложнее. Сцены М. Горького «Егор Булычов и другие».

Фильм, поставленный С. Соловьевым, вызвал множество споров. Малейшие нарушения сценической традиции воспринимались иными критиками чуть ли не святотатством. Мне же соловьевская экранизация «Егора Булычова» представляется значительной и находящейся в русле подлинной горьковской поэтики.

В первую очередь мне бы хотелось отдать должное крупнейшему актеру современности Михаилу Ульянову. Именно в нем молодой режиссер обрел не только соратника, но и фактического соавтора роли Булычова.

И опять — взгляните на лицо! Вглядитесь в глаза Булычова — Ульянова. Они просто преследуют вас с экрана. Какая в них пристальность, какое мучительное желание проникнуть в самую глубину жизни именно тогда, когда «наткнулся на острое... на смерть». И почему война? И какова цена крови людской? И что там дальше, после смерти? Все читается в этих глазах!

Булычов — Ульянов на экране, может быть, потерял кое-что в своем привычном — по театру — озорстве, он стал тише. Но не беднее, ибо приобрел неистовый накал раздумий, невиданную остроту мучительно ищущей мысли. Блуждающая в потемках душа человеческая — таков Булычов, сыгранный Ульяновым. Так разве это противоречит тому, что написал Горький? Мне думается — ничуть!

После Чехова и Горького можно «рискнуть на Пушкина». По предложению телевидения Соловьев экранизирует «Станционного смотрителя». Пушкинские «Повести Белкина» крайне скупы диалогом. Писать диалоги «за Пушкина» — немыслимо. И Соловьев находит выход — русский романс. Фильм погружен в его стихию, столь близкую пушкинскому времени. Тексты Пушкина — музыка композитора Шварца. Современное толкование, но очень осторожное, с тонким проникновением композитора в сложившуюся десятилетиями стилистику городского романса-песни. Сплав получился очаровательный. И недаром фильм «Станционный смотритель» получил на фестивале телевизионных фильмов в Венеции высшую награду «За исключительные художественные достоинства».

Чехов, Горький, Пушкин! Не правда ли, великолепная школа, вернее, академия высшего мастерства!

И с неоценимым опытом, приобретенным в этой «академии», Сергей Соловьев приступает к следующей своей работе — «Сто дней после детства».

Александрову, так же как Соловьеву, свойственно стремление к чистоте и сложности человеческих чувств. Ему, так же как и Соловьеву, ненавистна дидактика. В недавнем прошлом школьный учитель, он прекрасно знает, что с помощью пустой дидактики, с помощью прямого нравоучения невозможно найти путь к юным сердцам.

Теперь, когда он является автором уже трех сценариев, по которым поставлены картины на Студии имени М. Горького и на «Мосфильме», я могу с уверенностью сказать, что он, так же как и Соловьев, во всех своих сценарных работах

никогда не конструирует своих героев. Он просто пристально следит за ростом характеров и сам растет вместе с ними. Он знает цену истинной поэзии, которая всегда имеет нравственную цель. Он хорошо знает, что такое юмор и в чем его коренное отличие от остроумия.

Как и Соловьев, он не гонится за той или иной «модой», но всегда следует зову своего ума и сердца.

Предлагаемый читателям сценарий несет в себе все перечисленные черты авторского почерка, свойственные как Соловьеву, так и Александрову.

Сейчас, когда фильм «Сто дней после детства» уже вышел на экраны нашей страны, когда его художественная значимость подтверждена не только успехом у зрителей в нашей стране, но и исключительно теплым приемом, оказанным фильму на фестивалях в Западном Берлине, в Сан-Франциско, в Белграде, трудно отделить сценарную основу от представления об уже состоявшемся фильме. Не могу, однако, не отметить прекрасных литературных качеств самого сценария.

Приступая к этим кратким заметкам, я перечитал сценарий еще раз и убедился в том, что он является и самостоятельным литературным произведением — отлично написанной повестью.

Итак, о чем же эта повесть, о чем фильм «Сто дней после детства»?

Одно лето в пионерском лагере. Герои — подростки. Но ведь таких фильмов мы знаем десятки.

Сразу же видятся отрядные линейки, барабаны, горны, утренние побудки, незамысловатые приключения, военные игры, на крайний случай походы. Мальчик — слабак в очках, но зато умный и оказавшийся более смелым, чем мальчик — «любимец публики», и т. д., и пр., и пр.

Ничего похожего, вернее почти ничего, ни в сценарии, ни в фильме нет.

Во всяком случае, привычные «современные» приметы жанра находятся как бы на его обочине.

И все же «Сто дней после детства» — фильм остросовременный. Он говорит о самом главном — о воспитании чувств, высоких чувств у наших детей, чья жизнь устремлена к будущему. Это фильм о совести как нравственной категории, ибо «человек, не испытавший ни разу угрызений совести, не может считаться человеком».

Это фильм о любви и о страдании, ибо без испытания страданием не может быть истинной любви.

«Взгляните на лицо!» Вглядитесь же в лицо поколения, вглядитесь в глаза этих подростков, которым, возможно, посчастливится жить уже в условиях построенного ими же коммунистического общества. Готовы ли они к этому? Не растеряют ли они по пути все богатство человеческой культуры, тонкость чувств, непосредственность душевных движений?

На помощь авторам приходят: и Лермонтов с юношеской страстностью его «Маскарада», с горечью «Героя нашего времени», и Микеланджело, и Леонардо... Снова, как в самом начале пути С. Соловьева, «Мадонна Литта»? Нет, на этот раз «Мона Лиза — Джоконда»! К ней обращены глаза подростков дней сегодняшних. И это им предназначена тайна ее улыбки, тайна совершенства самой природы...

Однако не слишком ли я «патетичен»? Ведь фильм, как и сценарий, искрится и мягким юмором, он полон живых примет обыденной жизни...

...И все же — взгляните на лицо! Нет, я недаром так упрямо возвращаюсь к этой, первой работе Соловьева! В ней зерно всего еще недлинного его пути. Но это же зерно, хотя и несколько по-иному, определяет и все первые работы молодого писателя Александрова.

Вглядитесь в глаза человеческие, загляните в самую душу человека! Каков он, этот человек, — вчера, сегодня, завтра?

И главное — каков он в сложных взаимосвязях с вечно искомой, но так трудно достижимой гармонией окружающего его мира?

Какими путями движется он к ней, какие битвы ведет за торжество этой гармонии, — вот тот основной звук, который мне слышится в каждой работе Сергея Соловьева, а также и в каждом новом сочинении его друга и сверстника Александра Александрова. Серьезность их намерений вне сомнений. Верю, что и того и другого ждет большая судьба.

Л. Арнштам

А. Александров, С. Соловьев

Сто дней после детства

Ночь...

За окном шумят вётлы. Их стволы нависают над рекой, причудливо огибающей пионерский лагерь. Бывает, ночью у Дмитрия Лопухина во сне судорожно замрет сердце, и что-то неизвестное чудится ему в этом шуме, что-то пугает, но к утру, когда светлеют небеса, когда на заре вступает первая настойчивая птица, шум этот уже не вызывает смятения, слышится сквозь него невнятное лепетание воды на перекатах, а когда восходит солнце, тогда из шума воды, листвы и ветра за окном рождается музыка — Лопухину, спящему, кажется, будто она возникает в нем самом, будто она, эта музыка, приподнимает его в воздух и он парит, словно птица, свободно отдаваясь полету, и ночь вокруг него тает и сизой дымкой сворачивается в сырых зарослях крапивы, дягиля, каких-то белых, дурманно пахнущих цветов у самой реки...

Появляются стены палаты и окно с будильником и букетиком нежных полевых цветов в стеклянной банке, который неизвестно кто меняет почти каждое утро.

Рвется на волю, хлопает на ветру белая занавеска.

За окном шумят столетние вётлы, тонко поет горн...

По утрам бывшее имение графа Курепина, в котором теперь помещался пионерский лагерь, наполнялось детскими голосами.

— Внимание... — разнесся по всему лагерю голос из хрипловатого громкоговорителя. — Внимание! Говорит радиоузел пионерского лагеря «Лесной остров». Сегодня в десять часов по лагерю проводятся поотрядные пионерские сборы...

В маленькой дощатой радиобудке сидели радист, хлипкий мальчик в очках, и вожатый Сережа.

И здесь перед ними стоял букетик полевых цветов в банке.

— Явка всех пионеров строго обязательна. Спасибо за внимание, — сказал радист в микрофон и щелкнул выключателем. — Ну как? — повернулся он к вожатому и поправил свои очки у переносицы, где они были скреплены изоляционной лентой.

— Хорошо, — сказал Сережа и пожал плечами.

— Извините, только дикция у меня плохая.

— Почему? Не нахожу, — Сережа опять пожал плечами и улыбнулся мальчику. Дикция у него действительно была плохая.

— А вот и наши, пожалуйста, — кивнул головой по направлению к танцверанде маленький радист. — Первый отряд.

На танцверанде собрался весь первый отряд. Кто бродил между небрежно расставленных скамеек, кто сидел на эстраде, где стояло пианино, а двое ребят катались вокруг веранды на неизвестно откуда взятом велосипеде.

— А вы наш вожатый? — поинтересовался радист.

— Вообще-то, да. Хотя, понимаешь, это не совсем моя прямая профессия. Я, видишь ли, по профессии скульптор, а вовсе не педагог. И оттого я вас, честно говоря, боюсь.

— Ну, это вы зря. Пообживемся, пообтремся, и все будет нормально, — успокоил радист.

— Надеюсь, — вздохнул вожатый. — Слушай, а ты вообще тут всех знаешь?

— Ну откуда же всех! — удивился радист. — Правда, кого-то знаю по прошлому сезону, кого-то по школе, а многие новички.

— Ну, а ты мог бы, ну... — вожатый замялся. — Ну вот расскажи про кого знаешь. Ну просто, кто есть кто.

— Кто есть кто? — переспросил радист. — Пожалуйста. — И совсем как вожатый, пожал плечами.

Кто есть кто? Первый день

— Только у меня зрение слабое, — извинился радист, — и я, по обыкновению, биноклем пользуюсь.

Он достал откуда-то снизу большой бинокль и посмотрел в него на танцплощадку, где все еще продолжалась кутерьма.

— Биноклем?.. — усмехнулся Сережа. — Очень мило.

— Так, — сказал радист, настраивая бинокль по глазам. — С кого бы начать. Ну вот... — В его поле зрения попала светловолосая девочка, игравшая на пианино. — К примеру, у рояля — Загремухина.

Девочка, словно почувствовав взгляд, обернулась, но, конечно же, не поняла, кто на нее смотрит, поскольку радиобудка была далеко.

— Семь классов музыкального образования, а больше всего на свете любит «Собачий вальс». Слышите? — повернулся он к Сереже.

Веселый «Собачий вальс» доносился и сюда.

— Слышу.

— А это ее наперсница, — перевел бинокль в сторону радист.

— Наперсница? — переспросил Сережа и глянул на радиста.

— Ну да, наперсница. Вон, — указал он биноклем. — Та, что книгу читает.

Девочка в венке из полевых цветов меланхолично ела грушу, листая книгу на французском языке.

— «Письма любви», — перевел про себя заглавие Сережа.

— Ерголина Ленка, — продолжал радист. — Чрезвычайно образованная девица. Читает на трех языках, и ничего ей не нравится.

— Почему? — удивился вожатый.

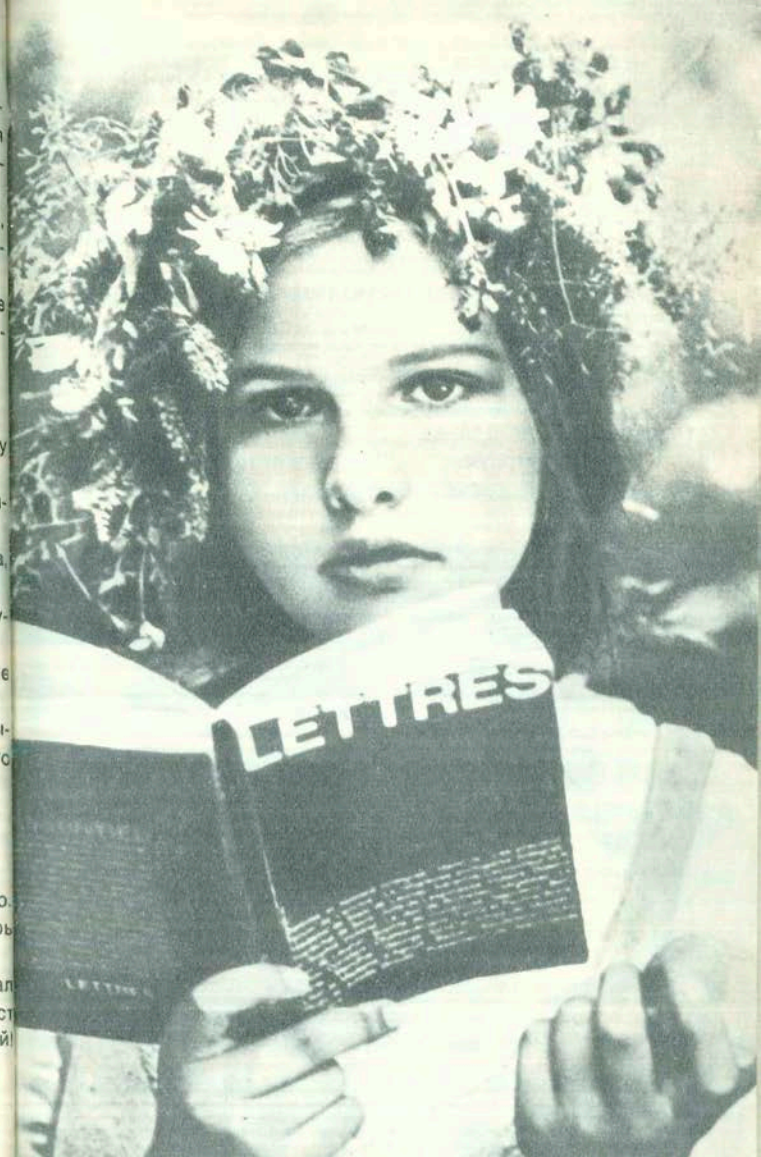
— Бог ее знает. Акселерация.

— А-а!

Ерголина закрыла книгу и медленно двинулась к пианино. Она положила книгу и села рядом с Загремухиной. Теперь они играли в четыре руки.

— А «Собачий вальс» тоже любит, — злорадно сказал радист. — Тут они молодцы, виртуозы! О-о! — Радист поймал кого-то в бинокль. — Лопухин. Духарно́й малый!

— Какой? — не сразу расслышал вожатый.



— Духарно́й.

Лопухин, четырнадцатилетний подросток, украсивший себя листьями, как папуас, скакал посреди танцевальной площадки. В руках у него были палка и камень. Он бормотал что-то себе под нос, иногда выкрикивая нечто нечленораздельное.

Рядом, скрестив руки на груди, стоял парень в соломенной шляпе с тоненькой голубой ленточкой по тулье.

Девочки у пианино, продолжая играть, оглянулись на Лопухина.

— Ты все такой же идиот, — печально сказала Ерголина. — Сколько тебя знаю — не меняешься.

— От такой и слышу, — обиделся Митя Лопухин и прекратил свой нелепый танец.

— Очень остроумно! — Ерголина отвернулась к пианино.

— Как могу! — выкрикнул Лопухин.

— Брось, Лопух, — сказал парень в шляпе, не меняя своей олимпийски спокойной позы. — Не связывайся ты с ней!

— А рядом — Фуриков, — пояснил радист вожатому Сереже. — В шляпе. Видите?

— Вижу.

— Черный гений.

— Почему?

— Да так. Разрешите? — Радист забрал у вожатого бинокль, который дал ему за минуту до этого. — А это — Лебедев Саша. Жуткий авантюрист.

По танцверанде шел белобрысый маленький мальчик в сером пиджачке, который был ему чуть велик, в таких же брючках и коричневых сандалиях в дырочку. Он подбрасывал и ловил свою кепку.

— А со стороны он похож на ангела, — удивился вожатый.

— Он и есть ангел, — сказал радист, поправив очки. — Ангел-авантюрист.

— А сидит кто? — спросил вожатый про парня, к которому подошел Лебедев.

— Лунев. Он у нас самый старый. Безукоризненный ум. А Саша Лебедев — золотой человек.

— Понятно, — сказал Сережа и отчего-то тяжко вздохнул.

Лопухин сидел на ограде танцверанды и, поплевывая на платок, стирал с лица намалеванные усы и бородку. Рядом полулежал Фуриков.

К ним подсел вожатый Сережа.

— Лопухин, тебе сколько лет? — спросил он.

— Четырнадцать. А что? — удивился Лопухин.

— Ничего, — сказал Сережа, а потом добавил: — «Я рожден с душою пылкой, я люблю с друзьями быть, а подчас и за бутылкой быстро время проводить».

— Это вы к чему? — поинтересовался Лопухин.

— Это не я. Это Лермонтов Михаил Юрьевич. Ты знаешь, в пору сочинения этих виршей ему как раз стукнуло четыр-

надцать. И вообще, при некоторой доле развязности его запросто можно было кликать Мишкой. Впрочем, тогда его называли Мишель. Тоже достаточно пóшло. Верно?

— Я не знаю, — сказал сбитый с толку Митя Лопухин.

— Чего ж замечательного в этих стишках? Про бутылку какую-то... Я тоже так могу. Ну а Фуриков уж наверняка.

— Чего-о? — оглянулся Фуриков, услышав свою фамилию.

— Ничего, — ответил Лопухин. И Фуриков успокоился.

— Вполне возможно, — сказал Сережа.

Загремухина, сидя у пианино, видимо, слышала разговор.

— Смешно, — сказала она, посмотрев на Лопухина и дернула плечом.

— Или вот, — вспомнил Сережа, продолжая прерванный разговор. — «В коляску сел. Дорогой скучной, закрывшись в плащ, он поскакал, а колокольчик однозвучный звенел, звенел и пропадал...» Правда, ему уже пятнадцать. Колоссальная разница? Верно?

— Я не нахожу, — сказал Лопухин и, плюнув на платок, продолжил свой туалет.

— Это печально, — вздохнул Сережа.

Эстрада на танцверанде была выполнена в традиционной форме раковины. Внутри раковины стояли стол, два стула. На столе поблескивал графин с водой. На одном из стульев сидел Сережа. Ксения Львовна, воспитательница первого отряда, стояла рядом и стучала карандашиком по графину.

Ребята спешно рассаживались по скамейкам.

Ксения Львовна была сухая, красивая еще женщина, в длинной юбке и игривой кофточке. На соломенной шляпке с плоскими полями, которую она носила, не снимая, был прикреплен букетик синеньких искусственных цветов. В общем, она походила на англичанку.

— Ну как, уселись? — спросила Ксения Львовна. — Можно начинать?

— Можно, — ответил кто-то.

— Здравствуйте, дети, — сказала Ксения Львовна.

— Здравствуйте, — вяло откликнулись ей несколько голосов.

— А теперь поорганизованней! Здравствуйте, дети!

— Здравствуйте, — хором отозвались ребята.

— Очень хорошо, — сказала Ксения Львовна и обратилась к Фурикову. — Мальчик, сними, пожалуйста, шляпу, у тебя в ней дурацкий вид. А откуда эта шляпа?

Фуриков снял шляпу и неохотно объяснил:

— Шляпа? Отцовская. Он ее в Сочи купил. Для отдыха. А без шляпы разве лучше?

— Значительно лучше, — сказала Ксения Львовна. — Итак, для начала мы с вами должны выбрать председателя совета отряда. Я слушаю предложения.

Отряд дружно молчал. Стало слышно, как поют птички.

— Ну, будем молчать или будем говорить? — спросила Ксения Львовна срывающимся голосом и поджала губы.

Все молчали.

Вдруг поднялась одна рука:

— Можно я скажу?

Встала высокая рыжая девочка с короткой стрижкой.

— Говори, девочка, — поддержала ее Ксения Львовна. — Как твоя фамилия?

— Заликова, — ответила та.

— Очень хорошо. Говори, Заликова...

— Товарищи, — громко начала Заликова, — нечего скрывать, что все мы друг друга знаем пока мало. Но по школе я хотела бы предложить Глеба Лунева. — И Заликова посмотрела на него.

Лунев сидел рядом с Ерголиной, которая так и не сняла венка.

— Заликова, — сказал Лунев, — кто тебя за язык тянет?!

— Ну чего? — не поняла Заликова. — Во-первых, Глеб хороший товарищ, а самое главное — это то, что он в этих делах имеет большой опыт. Тут он, можно сказать, собаку съел.

— А как звали собаку? — спросил Лопухин с места. Он сидел рядом с Лебедевым.

— А как тебя зовут, мальчик? — поинтересовалась Ксения Львовна.

— Лопухин.

— Еще одна реплика с места, Лопухин, и ты пойдешь гулять в лес, — предупредила Ксения Львовна.

— Пардон, — сказал за Лопухина Саша Лебедев.

— И еще, ребята... он... ну, представительный, что ли, — продолжала Заликова, поглядывая на Глеба Лунева. — Так сказать, лицо отряда...

— Красивое лицо отряда, — вставил Фуриков.

— И спина отряда, и плечи отряда, и зубы отряда... — перечислил Лопухин.

— Лопухин, на все время собрания я лишаю тебя слова, — возмутилась Ксения Львовна. — Что же касается предложения Заликовой, то оно хорошее. Но кандидатуру Глеба Лунева давайте мы с вами прибережем для другого поста, более значительного. Я думаю, что Глеб Лунев вполне может потянуть дружину.

— Простите, Ксения Львовна, — вежливо перебил Глеб и встал. — Я, конечно, благодарен вам, Ксения Львовна, за доверие, и тебе, Заликова, за хорошие слова, и тебе, Лопухин, за дружбу, но, Ксения Львовна, я, между прочим, на отдыхе и снова корячиться на дружине, ну честное слово, не могу. Я очень за зиму устал.

Глеб сел.

Помолчали. Опять прорвались птички со своим невинным щебетом.

— Он прав, — вдруг сказал Фуриков. — Он тоже человек, а не лошадь. Ему тоже отдых нужен.

— Ну, на отряде-то, Глеб, я думаю, ты не перетрудишься? — обиженно спросила Ксения Львовна.

— Ладно, — сказал Глеб. — На отряде не перетружусь.

— Голосуем.

Все подняли руки.

— Единогласно. Похлопаем, — сказала Ксения Львовна.

И все похлопали.

■

Большие белые камни известняка лежали в траве, как стадо отдыхающих животных.

Белый камень

Лагерный мерин Цезарь, запряженный в телегу, отдыхал неподалеку.

Мужская часть первого отряда во главе с Сережей стояла посреди поля. Было жарко, где-то высоко в небе пел одинокий жаворонок.

— Вот, Сергей Борисович, — сказал Лебедев. — Это остатки курепинских каменоломен.

— А кто такой Курепин? — поинтересовался вожатый.

— Граф, — уважительно пояснил Лебедев. — Это все его бывшее — и парк, и река, и усадьба...

— Ясно, — осмотрелся Сережа.

— Может быть, вот этот возьмем, — предложил Лебедев и ткнул пальцем в светлый камень, лежавший в траве почти рядом.

— Нет, этот нельзя, — покачал головой Сережа.

— Почему? — удивился Лебедев.

— Потому что, Лебедев, боги дремлют в глубине мраморных плит! — весело ответил Сережа. — Это сказал не я. Это сказал один замечательный мужик — скульптор Микеланджело.

— А-а! — протянул разомлевший на жаре Фуриков.

— Бе-е! Дай договорить, — оборвал его Сережа.

— Извините.

— Вообще, каждый камень имеет свою душу, — продолжал Сережа.

— Душу? — переспросил радист в очках.

— Да, душу. Каждый камень в себе несет что-то. И каждый — разное. Камни, как люди...

— Люди? — удивился Фуриков.

— Ну да. Ну... бывают твердые люди?

— Бывают, — ответил Фуриков.

— Это гранит. Понимаете? Бывают светлые и мягкие — это мрамор.

— Точно, мрамор, — подтвердил Фуриков.

— А бывают воздушные, понимаете? — Сережа глянул на Лебедева, который, наклонив голову, его внимательно слушал. — Это известняк.

— Ну а я, к примеру, какой камень? — спросил Лебедев.

— Ты?! Ты, Лебедев, пока булыжник, хотя похож на гальку. Однако и в тебе дремлет душа.

— А чего это она все дремлет? — спросил Лебедев

серьезно, но все рассмеялись, и тогда сам Лебедев тоже к ним присоединился.

Всей гурьбой тащили за веревку, раскачивая вросший в землю камень.

— Раз, два, оп-па! — командовал Сережа.

Наконец камень подался.

Потом Цезарь неторопливо перебирал ногами, Сережа вел его по уздцы. На телеге, обняв большой камень, сидел Лебедев и тараторил без умолку:

— Оп-па, оп-па, вот тебе и оп-па! Ничего себе — камушек. А вы говорили: галька, булыжник, а это целая тонна.

— А зачем вам этот камень? — спросил Фуриков Сережу.

— Да я у вас тут поработать хочу.

— Хотите совет? — встрял Лебедев.

— Давай.

— Изобразите Фурикова, в шляпе или без, и у вас получится, можно сказать, надгробный монумент.

Все дружно рассмеялись.

Было жарко, над полем летали стрекозы и где-то высоко в небе все заливался одинокий жаворонок.

Митя нырнул в воду. Тело обожгло холодом.

Он открыл глаза и увидел тонкие свои белые руки. Цепь призрачных пузырьков срывалась с пальцев, стремительно проносилась мимо, исчезая в зеленоватой воде.

Потом дыхание кончилось.

Митя вынырнул среди купающихся ребят. На плече его болталась случайно вырванная лилия.

— Сатир! — радостно крикнул ему Лунев, громко хлопнув себя по голой груди, потом счастливо рассмеялся.

■

Обхватив голову руками, Митя ничком лежал на раскаленном песке. Этим летом он загорал впервые.

Рядом в длинных черных трусах возлежал маленький радист.

Солнечный удар

Митя лежал долго, почти не шевелясь, а солнце жгло нестерпимо.

Неподалеку, на купальне, царило безудержное веселье. Пение, свист и рев долетали сюда. Фуриков и Лунев танцевали на мокрых мостках танго. Фуриков был в трусах, но, как всегда, при шляпе. Публика была счастлива. Играли на губах, присвистывали, били ритм пятками о доски.

Митя прикрыл глаза, потом открыл их снова — в воздухе висело знойное марево, очертания предметов вдали расплывались.

А там, на купальне, все веселились.

Фуриков с Луневым всё танцевали.

Вдруг кто-то из них поскользнулся — и оба упали в воду.

Лебедев бросил им надутый черный баллон, молодая докторша в белом халате — спасательный круг.

Всем было весело.

Намокшая шляпа с голубой лентой плавала на успокаивающейся воде...

Митя закрыл глаза. Он все лежал неподвижно под жарким, одуряющим солнцем.

Еще раньше, когда тело было мокрым, к его спине, к голеням прилип песок, теперь же Митя давно высох, но песок так и лежал на нем, не ссыпаясь.

Докторша объявила в рупор:

— Ребята! Поднимайтесь, собирайте вещи. Купанье окончено. Обед! Обед!.. На обед!

— Лопухин, ты похож на руину! — услышал Митя веселый голос Глеба Лунева. — Вставай, пошли обедать. Слышь, Лопухин, пошли.

— Сейчас, — пробормотал Митя, но с места не сдвинулся.

Глеб прошел мимо, зацепился рукой за сук ивы, свисающий над песчаной отмелью, подпрыгнул и исчез в кустах.

Мимо, на ходу надевая штаны, пробежал маленький радист.

Митя еще долго слышал хруст под подошвами их башмаков, который все удалялся, удалялся и, наконец, пропал совсем.

Тело сильно жгло солнцем, раскаленное темя ныло, но глаз открывать не хотелось, хотелось почему-то спать. Митя совсем одурел под солнцем.

Наконец Митя перевернулся, чувствуя, как ссыпается с него раскаленный песок, потом медленно встал.

Все ушли обедать. Вода в заводи успокоилась. Купальня была теперь пуста. Она вся лежала в тени большого дерева, и отсюда, из жары, казалась прохладной. Ивы на том берегу касались ветвями воды. Они походили на легкие зеленые облака, не имеющие веса и лиственной плоти.

Какая-то тоненькая девочка в прилипшем к мокрому телу сарафане полоскала с мостков ноги. В воде медленно расходились круги.

Чуть покачивались на воде плоские мокрые листы купальниц.

И девочка, и купальницы, и дерево, и вода — все показалось вдруг Мите невыразимо прекрасным. Такой красивой картинки не доводилось ему еще видеть никогда в жизни. И даже музыка вдруг почудилась ему.

— Чего это я, дурак, — сказал Лопухин сам себе. — Это же просто Ерголина.

И вдруг всплыла другая картинка. Он вспомнил, как она в венке из полевых цветов читает книгу, изредка поднимая голову и о чем-то, видимо, раздумывая.

— А-а-а... Это жара! — догадался он.

Девочка у стеклянной двери купальни поправляла волосы. Вскинув острые локти вверх, она закалывала волосы с зади а черный квадрат стекла двери отражал ее лицо.

— Это Ерголина, — подумал вслух он. — Я же ее тысячу лет знаю.

Музыка играла громко.

Митя видел Ерголину, будто была она совсем близко. И музыка и это чу́дное лицо — все вызывало в Мите сильное и безотчетное волнение, которого раньше испытать ему не приходилось.

Тело горело, и раскаленное темя все ныло под прямыми жаркими лучами полуденного солнца.

Картинка вдруг расплылась, стала туманной...

...Митя покачнулся и некрасиво упал на песок.

Митино лицо медленно проявилось на белом полотне подушки. Веки вздрогнули, приоткрылись. Спекшиеся его губы были плотно сжаты.

На лбу лежала повязка, и тонкая струйка ледяной воды медленно стекала от виска к подбородку, по шее и скатывалась в ложбинку между ключицами.

В небольшой комнате медпункта царил полумрак. В этом маленьком зале курепинского особняка стены были расписаны зеленоватыми фресками. На стенах, поверх росписи, висели медицинские плакаты.

Докторша склонилась над Митей и легонько пошлепала его по щеке. Медленно он стал осознавать, где находится, а то ему все еще казалось, будто он лежит под горячим солнцем на песке.

Он, как был у пруда в одних трусах, лежал на длинной кушетке и горячим своим телом ощущал холодок клеенки.

— Ну вот и хорошо, — сказала докторша, увидев, что он пришел в себя. — Вот и прекрасно. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — сказал Лопухин и проводил взглядом докторшу, которая села за стол и стала что-то писать.

— Правильно, — подняла глаза на него докторша. — А отчего бы тебе чувствовать себя плохо? Верно?! Можешь сесть, если хочешь.

Митя сел. Кушетка стояла у стены. На стене были нарисованы какие-то деревья, коровы на лугу и пастух с дудкой, но

краски полуобсыпались. Босые ноги ощущали чисто вымытые доски пола, тоже, как и кушетка, прохладные.

— Тебе сколько лет?— спросила докторша.

— Четырнадцать.

— Фантастика. Встань-ка сюда.

Лопухин подошел к стойке с цифрами и делениями.

— Что?! — спросил он.

— То, что со всеми вами происходит. Ты выглядишь на все шестнадцать. Так... — сказала она, приподнимаясь на цыпочках, пытаясь рассмотреть цифру над его головой. — Ну-ка, присядь, за тобой не видно.

— Сколько? — поинтересовался Лопухин.

— Сто семьдесят пять.

— Много? Мало?

— Много, — сказала докторша и опять села что-то писать. — Но это не имеет ровно никакого значения.

— Почему?

— Потому что у всех у вас это одна только видимость.

— Что — видимость? — спросил Лопухин и присел рядом.

— Плечи теленка, сердце ребенка. Впрочем, это тоже видимость. Головой не ушибался?

— Нет еще, — сказал Митя.

— Хорошо. — Докторша опять записала в карточку.

— А что это со мной было? — поинтересовался Митя.

— Ничего страшного. Просто солнечный удар. Организм слабенький, городской. Вот и перегрелся.

— Это все?

— Все.

Докторша протянула Лопухину пачку таблеток.

— Это что? — удивился он.

— Кальций. Ты его попей, он укрепляет.

— Ладно, — согласился Митя.

— Теперь ступай в палату и полежи. Вечером зайди.

— Хорошо, — опять согласился Лопухин.

— И еще я попрошу, чтобы тебе давали два вторых. А? — окинув его взглядом, сказала докторша.

— Ладно. Спасибо, — вяло поблагодарил Митя.

— А вообще, ты голову сверху кепкой прикрывай, в жару хорошо помогает, — посоветовала докторша.

— Хорошо.

Докторша мыла руки под краном.

— И ничего не бойся, Лопухин, — напутствовала она его. — С точки зрения медицины это совершенно не опасно.

— До свиданья, — сказал Лопухин, выходя из изолятора.

— До свиданья, Лопухин, — кивнула ему докторша.

Застегивая рубашку, Лопухин ступил в маленький темный коридорчик, в конце которого ярко горел квадрат стекла входной двери.

В стекле, будто в раме картины, был виден кусок сада. Вернее, малая часть его: куст жасмина, росший перед дверью, да голубевший над ним кусочек неба. Солнце скрылось, на листву легли мягкие тени.

У куста стояла та самая девочка.

— Что ж такое? — подумал вслух Лопухин. — Солнца нет, а это Ерголина.

Девочка стояла у куста, машинально перебирая в руках листья.

— Это просто Ерголина, я же ее тысячу лет знаю, — опять подумал он привычно вслух и вдруг почувствовал, как волнение возвращается к нему, а вместе с волнением возвращается и музыка.

Он потоптался в нерешительности в коридоре, потом открыл дверь, вышел наружу, на крыльцо. Прислонился к косяку двери. Лена Ерголина стояла совсем рядом. Они молча смотрели друг на друга.

— Лопухин, милый, — ласково сказала она и шагнула к нему.

Теперь она оказалась совсем близко, так близко, что Митя почувствовал воздух, движимый ее дыханием. Кровь отчаянно колотилась в висках.

— Как же ты меня напугал,— вздохнула она. — Я гляжу, кругом пусто, а ты лежишь. А вокруг никого, только листья шумят. Я подумала, что ты умер, Митя. Тебе и сейчас нехорошо. Да? — спросила Лена с участием и, подвинувшись к нему еще чуть-чуть, тыльной стороной ладони дотронулась до его щеки.

— Господи, да ты весь горишь! — удивилась девочка, но руки не отняла. — Тебя, верно, зря выпустили?..

— Нет, — ответил он тихо.

Куст жасмина был недвижим за ее спиной.

По-прежнему солнца не было.

■

Спускался вечер. В безветрии сгущались тени. В небе проступил прозрачный серпик молодого месяца, зажглась первая звезда.

Перед эстрадой-раковиной, которую окружали большие, чернильно-синие сейчас кроны старых вётел, было натянуто белое полотно, от нижних концов его тянулись вниз две веревки. «На растяжках» сидели Фуриков и Лебедев.

Бледный экран едва шевелился от слабого движения воздуха, мерцал в вечерней мгле. Вдруг он вспыхнул, ярко осветившись.

Улыбка в сумерках

На полотне — а светлый месяц был выше — проступили черты прекрасной девушки, спокойно сложившей руки перед собой. За ее спиной текла река. Берега были низкими, пологими, в воде же рождались водоросли, прорастали во влаге и цвели. У реки стояло одинокое дерево, за деревом открывались просторы. Казалось, отсюда виден был весь божий мир.

Первый отряд расположился на танцверанде. Лица ребят были едва различимы в сгущающемся сумраке вечера.

Сережа сидел у столика, на котором был установлен диапроектор. Из объектива бил яркий луч, в нем невесомо

кружилась вечерняя мошкара. Митя Лопухин сидел неподалеку от Сережи. Молча глядел на чуть колеблющуюся тряпицу, на девушку, которая в соседстве живых деревьев вдруг стала казаться живой.

Она улыбалась.

— Это кто? — спросила какая-то девочка из темноты.

— Ты что? С Луны свалилась? — ответил ей мальчишеский голос. — Это Джоконда.

— Мировой шедевр, — добавил кто-то.

— Эту картинку, Сергей Борисович, мы знаем, — заглянув на экран сбоку, сказал Фуриков.

Несколько человек засмеялись.

— Хорошо, — сказал Сережа. — Ну, а кто расскажет, что видит?

Все внимательно посмотрели на экран.

— Давайте я расскажу, — подняла руку Заликова.

— Пожалуйста, — согласился Сережа.

— Это девушка, которая сидит у реки, — начала было Заликова и смолкла.

— Всё? — спросил Сережа.

— Всё, — ответила Заликова.

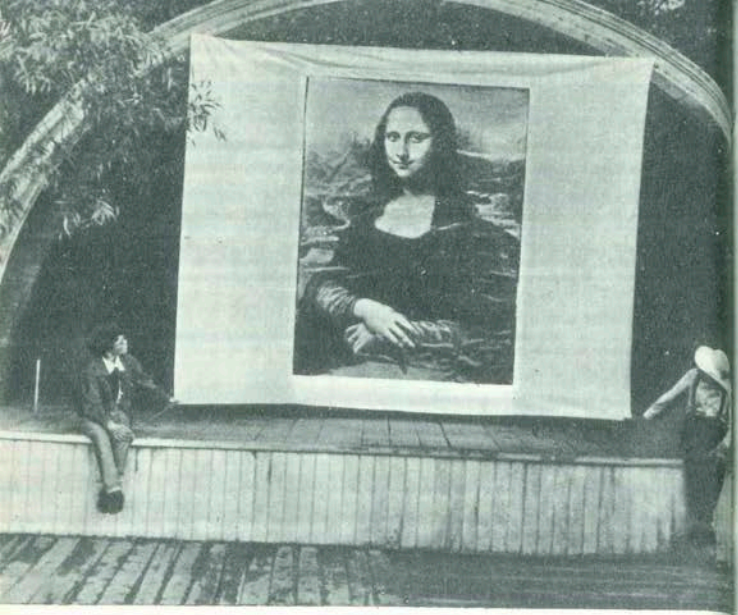
— А вы, Сергей Борисович, чего видите? — поинтересовался Саша Лебедев.

— Ну, хватит туману напускать, — взорвался маленький рыжий мальчик. — Сергей Борисович видит то же, что и Заликова, а Заликова видит Фурикова.

— А Фуриков ничего не видит, — закончил сам Фуриков. — Хотя ему тоже очень хотелось бы поглядеть.

И Джоконда снисходительно улыбнулась вместе со всеми.

— В общем-то, Заликова во многом права... — издалека начал Сережа, и ребята затихли. — Это действительно девушка, итальянская девушка, которая, правда, отдыхает у реки. И вот уж скоро пять столетий она улыбается так. И самые лучшие на этой земле люди вот уж скоро пять



столетий жарко спорят, доказывая про ее улыбку каждый свое.

Джоконда улыбалась, и казалось, она их слышит, отчего становилось немного не по себе.

— Бывает, что на доказательство уходит целая жизнь, вся судьба, но... так и умираешь... испускаешь дух в бессилии доказать что-то окончательное. Тогда... твои дети принимаются за все сызнова. Оттого улыбку Джоконды окрестили таинственной. — Сережа, мучаясь, подбирал слова. — Тайна ее улыбки сродни тайне самой природы.

— А в чем тут тайна? — спросила девочка. — Ну, улыбается себе человек и улыбается. Может, у нее настроение хорошее.

— Может быть. Вполне свободно, — сказал Сережа, глядя на экран.

— У меня мама так иногда улыбается, — сказал Лебедев. — Только очень редко.

Все сидели и молча смотрели на Джоконду.

А Джоконда чуть шевелилась в теплом воздухе ночи и улыбалась им, и всем казалось, что все теперь всегда будет хорошо и что залогом тому эта улыбка в сумерках.

— Понимаете, — сказал вдруг Сережа, нарушив молчание, — однажды — это случается обыкновенно внезапно — ты вот так вдруг увидишь и реку, и деревья, и девушку, и то, как она улыбается. Кажется, что ты и раньше все это видел тысячу раз, но в этот раз вдруг остолбенел, внезапно пораженный, как невообразимо прекрасна и эта девушка, и эти деревья, и эта река. И то, как она улыбается. Это обыкновенно означает, что тебя настигла любовь, — закончил Сережа, и слова его прозвучали в полнейшей тишине.

Джоконда, глядя на него, сочувственно улыбнулась.

Лопухин вдруг почувствовал непреодолимое желание обернуться, и он это сделал.

Через неясные фигуры товарищей он увидел прекрасное лицо Лены Ерголиной, обращенное вверх, к экрану. Рядом с ней, чуть подавшись вперед, сидел Глеб Лунев.

— Тебе чего, Лопух? — тихо спросил Глеб.

Лена тоже глянула на него.

— Ничего, — сказал Лопухин и отвернулся. В глазах у него потемнело.

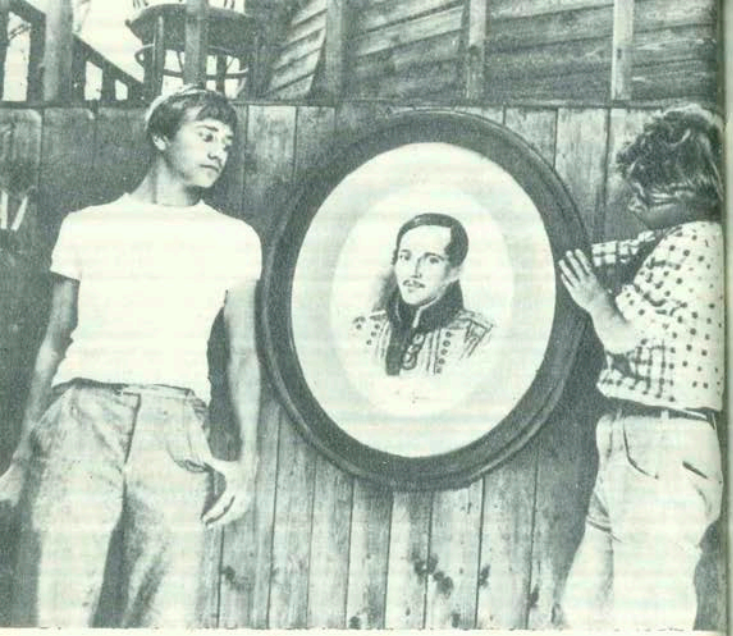
Джоконда все улыбалась и, казалось, все видела и все поняла.

Звенели цикады в чутких сумерках.

По небосводу густо рассыпались звезды.

Лопухин стоял у глухого деревянного забора и что-то вырезал на нем ножом. Мимо проходил радист с большим овальным портретом Лермонтова. Радист остановился, наблюдая за Лопухиным.

— Послушай, — наконец сказал он. — Это ты чего написал?



— Где? — невинно спросил Митя.

— Да вот, — показал радист.

— А-а! Это... Это я еще не дописал.

— А чего хотел написать?

— Написать-то...— Лопухин вздохнул. — Ерголина — дура!

— Понятно.

— Это ты чего несешь? — в свою очередь поинтересовался Митя.

— Это? — переспросил радист, указав на портрет.

— Это.

— Лермонтов. Михаил Юрьевич. Как живой. Нравится?

Они оба внимательно посмотрели на портрет.

— Ксения Львовна его велела к нам в палату принести, — объяснил радист. — Говорит, что из уважения к Сереже.

— Почему?

— Я не знаю, — пожал плечами радист.

Они еще раз внимательно посмотрели на портрет.

— Слушай, а он на тебя похож, — вдруг обнаружил радист и даже раскрыл рот от удивления.

— Ну чего ты болтаешь! — сказал Митя.

— Да ничего я не болтаю, — настаивал радист.

— Ты что, серьезно?

— Серьезно, — захлебываясь от восторга, сказал радист. — Или ты на него, или он на тебя, но похоже. А ну-ка, встань сюда, голову поверни, — командовал радист.

— Да! Грандиозно! — закричал он. — Еще бы усы подрисовать.

И они рассмеялись.

Старые курепинские ворота — два обшарпанных столба с пустыми нишами в каждом и ржавая витая решетка между ними, связанная цепью, тоже проржавевшей, — назывались теперь «запасными». Они стояли на отшибе среди огромного луга, по которому вела к ним узенькая, полузаросшая травой тропинка. Сразу за воротами начинались заросли одичавшей сирени, жимолости, ольшаника, дальше, за кустами, шел парк.

Митя сидел в одной из ниш ворот, поджав ноги, читал книгу. Это был «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, про которого они когда-то беседовали с Сережей.

«Вернер был худ и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой. Черные глаза Вернера, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли...Его наружность с первого взгляда поражала неприятно, но нравилась впоследствии, когда глаз выучивался читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой...»

Он оторвал глаза от книги.

Перед ним уходило вдаль поле. Слабый ветер волновал траву. Кругом было тихо.

Митя вдруг почувствовал себя очень одиноким, единствен-
ным во всей вселенной, но печали от одиночества почему-то
не испытал.

Он снова стал читать.

«Женщины влюблялись в таких людей до безумия, надобно
отдать им справедливость — они имеют инстинкт красоты
душевной...»

Лопухин прикрыл глаза и полуоткинулся в нише.

— Вернер был хромой, — отчего-то подумал он.

Тут издалека до него донеслась песня.

«Ты па-ачему-у-у забыла-а-а
Мой номер ти-ли-фона?..
Так перестань смея-я-яться
Над тупа-а-астью ма-ей» —

пели хрустальным отроческим голоском церковного
певчего.

Митя поднял глаза и увидел, что прямо через луг по
тропинке гонит на велосипеде Саша Лебедев.

— Лебедев! — позвал его Митя. Лебедев остановился и
соскочил с велосипеда на одну ногу. — Ты где велосипед
взял?

— В одном месте, — лаконично отвечал Лебедев.

— А куда ездил?

— По одному делу. А ты чего здесь делаешь?

— Жду тебя, — ответил Митя. — Поди-ка сюда.

— Пожалуйста. — Лебедев присел рядом с ним. — Ну?!

— Скажи мне, Лебедев, ты одинок? — спросил Митя.

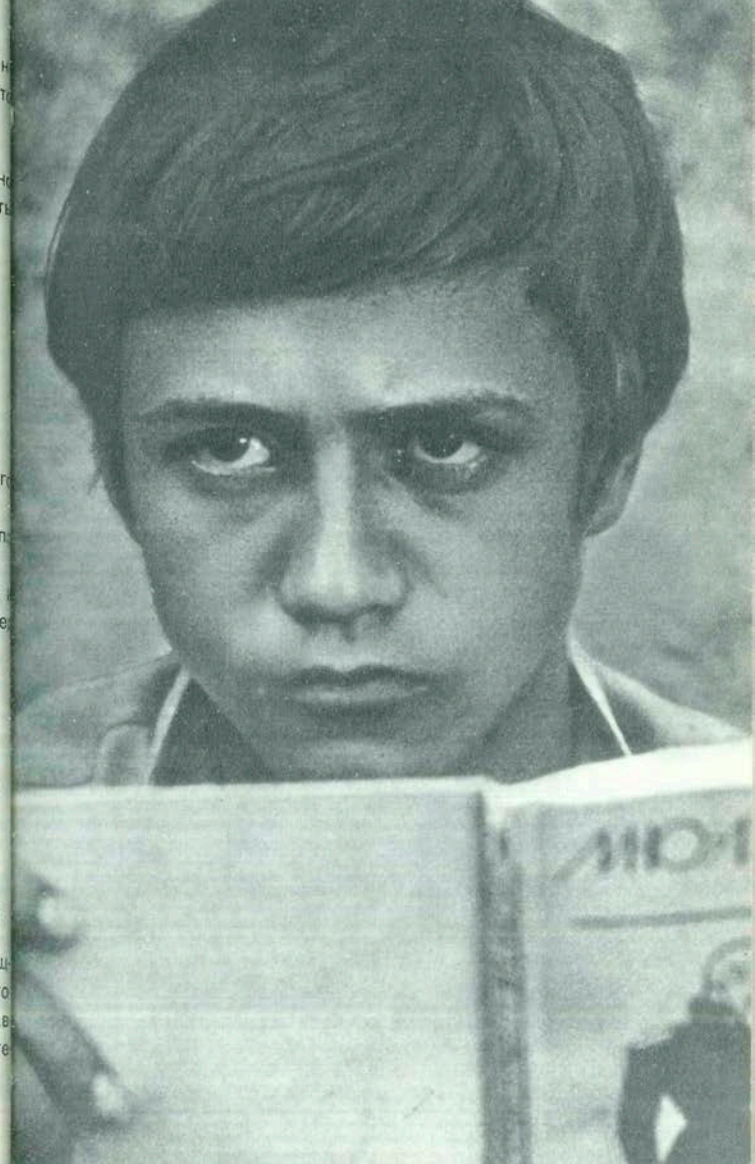
— Чего? — испугался Лебедев.

— Я спрашиваю тебя, ты одинок? — повторил Митя.

— Не знаю. Да, наверное, — подумав, ответил Лебедев.

— Почему?

— Ну, наверное, потому, что я физически не очень мощ-
ный. Это во-первых, — сказал Лебедев опять после некото-
рого раздумья. — Ну, а во-вторых, я какой-то хлипкий нрав-
ственно и вялый. От этого, наверное, со мной не очень инте-
ресно дружить.



— Я тебе буду другом, Лебедев, — сказал Митя.

— Хорошо. Спасибо тебе.

— Ты гипсу достать можешь? — спросил Лопухин.

— Гипсу? — пожал плечами Лебедев. — Не знаю. Да наверное.

— А галошу?

— Поискать надо, — совсем не удивился Лебедев.

— Гипс и галоша нужны будут завтра на рассвете. Понял? — Лопухин вытащил из нагрудного кармана пакетик, открыл, вынул большую белую таблетку, аккуратно положил ее на язык и ловко проглотил.

— Понял, — ответил Лебедев. — А это ты чего съел?

— Кальций, — трагически сказал Лопухин. — Только никому ни о чем ни-ни!

— Могила.

И они скрепили союз рукопожатием.

■

Лугами стлался туман, одиноко бродил по лугу печальный белый мерин Цезарь, пощипывая травку. Рядом со слабым огоньком костерка копошились две фигурки.

— Ты ногу замотал? — спросил Лебедев Лопухина, помешивая в котелке над костром какое-то беловато-мутное варево.

— Замотал, — сказал Лопухин, заглядывая в котелок. — Смотри не развари.

— Не разварю, — заверил Лебедев. — Кажется, готово. Ложись. — Он выбросил щепку, рукавом пиджака захватил котелок, поставил его в траву.

— Ложусь, — сказал Лопухин и лег на землю, положив ногу в укрепленную рогатину.

— Эх, жжется собака, — подул на руку Лебедев.

— А может, прямо через штанину польем, а? — предложил Митя.

— Ты что, так и будешь всю жизнь ходить в штанах? — поинтересовался Лебедев, опуская руки в загустевающий гипс.

— Тоже верно, — согласился Митя и баранкой закатал штанину. Вся нога его под брючиной до колена была туго перебинтована свежим бинтом.

— Так-с, аккуратненько, — приговаривал Лебедев, обмазывая ногу гипсом.

Лопухин смотрел в небо.

Гипс твердел на глазах.

Мизантроп. Июль

— Так-с...

Лопухин вынул из кармана таблетку и проглотил ее.

— Кальций? Понимаю, — уважительно сказал Лебедев. — Послушай, а для чего тебе все это нужно?

— Что — все? — посмотрел на него Митя, сделав вид, что не понял.

Лебедев, высунув язык от напряжения, вылепливал ему красивую новую белую ногу.

— Ну, гипс, нога, кальций, — уточнил Лебедев.

— Как там у тебя? — в свою очередь спросил Митя.

— Да, кажется, готово. Классно получилось. — Лебедев постучал пальцем по затвердевшему гипсу.

— Тогда вяжи галошу.

— Галошу так галошу. Оп-па. — Лебедев привязал к ноге галошу и помог Мите встать. — Вот и все. А ты боялся. Вставай.

Митя, опираясь на палочку, прошелся по траве. Пробуя ногу, обернулся к Саше:

— Ну как?!

— Так-с, — раздумчиво произнес Лебедев, склонив голову к плечу. — Шик-модерн, — заключил он.

— Послушай, Лебедев. Как ты думаешь, на кого я сейчас похож? — спросил Митя.

— Я не знаю, — растерялся Саша. Он стоял в стороне с котелком в руках, в пиджачке с чужого плеча, в неизменных сандалиях на босу ногу.

— Похож я сейчас на осеннюю птицу-подранка?

— А что такое подранок? — спросил Лебедев, разглядывая своего друга.

— Подранок — это такая птица, Лебедев, которую ранили, но до конца не убили.

— Похож, — сказал Лебедев, но уверенности в его голосе не было.

— Костер затушить надо, — вдруг вспомнил Митя.

— Надо, — вяло согласился Лебедев.

— Ну так давай.

— Да я не хочу.

— Но ведь надо, — сказал Лопухин.

— Раз надо, значит, надо, — вздохнул Лебедев.

Тушили костер старым мальчишеским способом.

Огонь, шипя, погас.

Лопухин и Лебедев с тарелками в руках стояли перед Ксенией Львовной в столовой.

Ксения Львовна сидела за столом, доедая завтрак.

— Полтора часа опоздания. Мы тут все волнуемся, с ума сходим, а их нигде нет, — выговаривала им Ксения Львовна. — Они пропали, погибли, утонули... Ну, Лебедев, — вдруг взорвалась она, — что ты мне рожи корчишь? Ну?

— Это не рожа, Ксения Львовна, — печально сказал Лебедев и глазами указал на Лопухина.

— А что это?

— Пожалуйста, взгляните. — И он снова кивнул на Лопухина.

Ксения Львовна приподнялась и ахнула, увидев загипсованную ногу Лопухина.

— Боже мой! Ну а это что такое?!

— Нога, — сказал Лопухин глухим голосом.

— А что с ногой?

— Остомилический синдрит, — не моргнув глазом, объяснил Лебедев.

Митя с удивлением посмотрел на него.

— Что? — переспросила Ксения Львовна.

— Застарелый остомилический синдрит Гинднера, — уточнил Лебедев.

— А кто такой Гинднер? — спросила Ксения Львовна.

— Гинднер? Это педиатр. Можно мы присядем? — Лебедев чувствовал себя хозяином положения.

— Ну, разумеется, садитесь, — растерянно предложила им Ксения Львовна.

Они сели за стол со своими терелками и стали есть.

— Митя, а Лебедев говорит серьезно? — с надеждой спросила Ксения Львовна.

Лебедев хмыкнул.

— Серьезно, — печально сказал Лопухин.

— Да мне его мать перед отъездом все рассказала и просила следить, — продолжал Лебедев.

Ксении Львовне отчего-то стало грустно.

— Вы ешьте, мальчики, ешьте, — приговаривала она и, подперев рукой подбородок, смотрела на них. — Но это не опасно?

— Как сказать, Ксения Львовна, — разошелся Лебедев, размахивая вилкой. — Все-таки застарелый синдрит.

Митя посмотрел на него испепеляюще.

— Да Лебедев шутит, — сказал он мрачно. — Это совсем не опасно. Ешь, Лебедев, ешь!

Темная поверхность речной заводи смутно отражала низкое небо. На мостках стояли Лена и Глеб. Глеб закидывал удочку.

Из густых зарослей по берегу реки за ними наблюдали Лопухин и Лебедев.

— Этим покажемся? — спросил Лебедев.

— Этим покажемся, — сказал Митя, но с места не тронулся.

— Ну давай покажемся.

— Давай, — согласился Митя.

Услышав глухой стук по дереву, Лена подняла глаза. По мостику к купальне шел Митя Лопухин с загипсованной ногой. Он благородно прихрамывал. Его сопровождал Саша Лебедев. Вот Лебедев разбежался — и консервная банка, лежавшая на берегу, несколько раз перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду.

— Чего это с ним? — спросила Лена Лунева.

— Не знаю, — пожал тот плечами. — Эй, Лопух!

— Ну? — сказал Лопухин, остановившись. Остановился и Лебедев.

— Чего это у тебя с ногой? — крикнул Лунев.

— С ногой? — Лопухин постучал по ней палочкой. — Пустяки! Старое растяжение подколенного мешочка. Перед непогодой хандрит, бывает.

— Он тут год назад догонял одного гада и нечаянно ногу свернул, — почему-то сказал Лебедев и сам удивился тому, что несет.

— Какого гада? — не поняла Лена Ерголина.

— Не важно какого гада, — замял Лебедев. — Важно, что неудачно догонял. Верно? — обратился он к Мите.

— Рыбку ловите? — спросил Митя.

— Ловим, — ответил Лунев.

— Не помешаем? — влез Лебедев.

— Не помешаете, — ответил Лунев.

Лопухин с Лебедевым перебрались поближе.

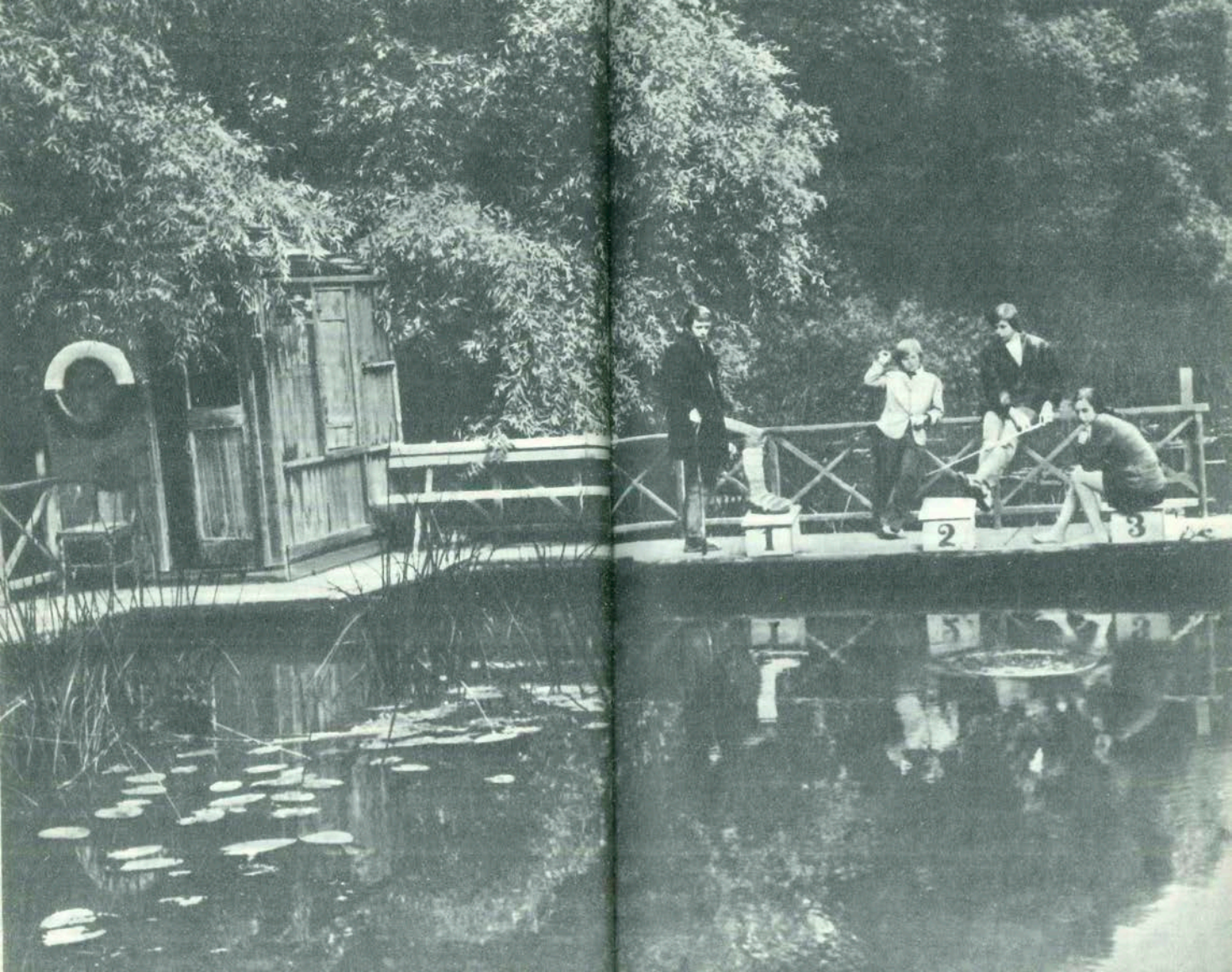
— Привет! — сказал Лебедев.

— Здорово, — мрачно ответил Лунев.

— Наше вам с кисточкой, — поприветствовал Лопухин и выставил вперед загипсованную ногу. — Как жизнь?

Лебедев опустился на колени и любовно поправил ему ногу.

Лунев и Ерголина удивленно смотрели на эту парочку.


1
2
3

— Жизнь? — переспросил Лунев. — Ничего!

— Чего ловишь-то? — поинтересовался Лопухин.

— Щуку на мотыля.

Лебедев кинул в поплавок камушек.

— Какая тут щука!— засмеялся Лопухин. — Когда здесь головастики все со скуки передохли.

Лебедев просто зашелся от смеха, однако Лунев с Ерголиной его не поддержали.

Тогда Лебедев снова кинул в поплавок камушек.

В маленьком зале усадебного театра было полутемно. Ребята стояли тихо. Озирались. Свет из полукруглой рампы освещал небольшую сцену, задник которой, тщательно писанный, но в подтеках, представлял остатки какой-то древней руины, по всей видимости, итальянской. За руиной виднелся далекий пейзаж с деревьями.

На сцене стояла маленькая старушка в коричневом платье с кружевным жабо и брошкой. Седые волосы старушки вились игривыми кудельками.

— Задник же писан великолепным итальянским художником, болгарином по происхождению, большую часть своей жизни проведшим в России, — объясняла старушка. — Вот и все, пожалуй, товарищи пионеры, об этом уникальном усадебном сооружении восемнадцатого столетия, — закончила она.

Слушая ее, Лопухин задумчиво проглотил очередную таблетку кальция.

— Ну, а теперь мы должны поблагодарить Ефросинью Кузьминичну за очень интересный рассказ, — сказала стоявшая рядом со старушкой Ксения Львовна. — Садитесь сюда. — Она бережно усадила старушку на стул, стоявший на сцене. — И не только за рассказ. Я должна вам сообщить, что Ефросинья Кузьминична в годы Великой Отечественной войны, рискуя собственной жизнью, сохраняла все это бесценное сокровище.

Ребята дружно зааплодировали.

— Благодарю, благодарю вас, — привстала со стула Ефросинья Кузьминична.

— А теперь я хотела бы порадовать вас, ребята. Мы получили разрешение подготовить и показать на этой сцене какую-нибудь хорошую драматическую вещичку, — радостно сообщила Ксения Львовна.

— Тут нужна классика, — сказал из зала Сережа.

— Это верно, — согласилась Ксения Львовна. — Стены, так сказать, обязывают.

— Предлагаю «Маскарад» Лермонтова! — сказал Сережа.

— Ну «Маскарад», так «Маскарад». Вот вы сразу и приступайте.

Сережа прошел через зал, полный ребят, и взобрался на сцену.

— Сразу и приступим. Тем более что Арбенин у нас есть.

— Это Лунев, что ли? — спросила Загремухина из темноты.

— Молодец, Загремухина, — похвалил Сережа. — Конечно, Лунев. Кто же еще! Но не это главное. Главное, Ксения Львовна, это то, что у нас есть замечательный Шприх.

— Кто? — удивилась Ксения Львовна.

— Вот. — Сережа указал на маленького радиста, который сидел на стуле посреди зала.

— Это я, что ли? — рассмеялся радист.

— Ты.

— Ну вы даете, Сергей Борисович. — Он аж захлебнулся от смеха.

— Штраль — Загремухина, — продолжал Сережа. — Нина — Ерголина, это ясно.

— Это давно и всем ясно, — сказал Фуриков и помахал своей вечной шляпой.

— Так. Казарин, — задумался Сережа.

— А кто такой Казарин? — спросила Загремухина.

— Умница, игрок, циник, мужик не промах...

— Так это ж Фуриков, — догадался Лебедев.

Фуриков поклонился, приложив руку к груди.

— Благодарю.

— Гениально. Так, ну а князя Звездича, я думаю, отдадим Лопухину. Мить, ты где? — Сережа всмотрелся в полумрак зала.

— Он здесь, — трагически произнес Лебедев и отступил в сторону.

Митя сидел на стуле, далеко отставив загипсованную ногу. Руки его были покойно сложены на груди.

— Это что с тобой? — спросил Сережа с участием.

— Пустяки, — небрежно сказал Митя. — Старое растяжение подколенного мешочка.

— По-научному, остомилический синдрит, — вставил Лебедев все тем же трагическим тоном.

— Грустно, — сказал Сережа, — но зато ты стал похож на лорда Байрона.

— Нет, — вышел вперед Лебедев, — он похож на осеннюю птицу-подранка.

— Слушай, Лебедев, — взорвался Лунев, — ну что ты про этого подранка заладил.

— Действительно, Саша, хватит некоторых раздражать, — печально сказал Митя.

Маленький радист копошился в своей освещенной будке. Вот он нашел пластинку, повертел ее и объявил в микрофон:

— Французский медленный танец «Изабель».

Был вечер. Ярко светилась танцплощадка, окрестности тонули в темноте.

Пары кружились меланхолически, не выпячиваясь и не хвастая, как хорошо или необыкновенно они умеют танцевать. Тут были ребята из трех отрядов, кроме самого младшего.

А радист одиноко сидел в своей будочке на отшибе и разглядывал танцующих в бинокль.

Голубой люминесцентный свет освещал густые кроны деревьев.

В лучах света церемонно двигалась мошкара, порхали ночные мотыльки и бабочки.

Ерголина танцевала с Глебом Луневым и что-то говорила ему, заглядывая в глаза, а Митя чувствовал себя полным и законченным идиотом. Его нелепая фигура торчала на видном месте: он сидел у стола на эстраде и крутил тросточку. Знаменитая нога лежала на отшибе.

Лунев с Ерголиной оказались неподалеку.

— Скучаешь, верно, бедненький...— вдруг участливо спросила Лена Митю, чуть наклонившись в сторону, чтобы Глеб не мешал.

— Отчего же? — вдруг гадким голосом ответил ей Митя. — Каждый веселится в меру своих умственных способностей...

Лена замолчала и отвернулась.

— Это невыносимо, Лопухин, — сказал Глеб, поморщившись. — Ты стал какой-то мизантроп.

— Какой есть, — еще высокомернее и глупее сказал Лопухин, хотя и знал, как отвратителен, должно быть, сейчас он, но удержаться не мог.

Лопухин отвел глаза и увидел Лебедева, танцевавшего с белобрысой худенькой девочкой, которая была на голову выше его. Ему почему-то стало еще грустнее, чем было.

— Саша. Лебедев, — позвал он очень тихо, но Лебедев услышал.

— Я?! — спросил он остановившись.

— Ты. Поди-ка сюда.

Лебедев церемонно извинился перед своей малолетней дамой и, изворотливо огибая танцующих, двинулся к нему.

— Ну, чего тебе?

— Присядь, — попросил Лопухин.

— Ну? — Лебедев сел рядом.

— Ты не знаешь, что такое мизантроп?

— Мизантроп? — задумался Лебедев. — Нет, не знаю.

— Жалко, — вздохнул Лопухин.

Лебедев глянул на свою даму, она помахала ему рукой. Лебедев небрежно ответил ей и снова обратился к Мите

— Так у Ефросиньи спросить можно.

— А кто такая Ефросинья? — растерянно спросил Митя.

— Ефросинья Кузьминична — смотрительница усадьбы. Книг у нее — уйма. Понял? Там есть Брокгауз и Ефрон. Это энциклопедия, в золотых корешках. Ты меня слышишь?

Но Митя почти не слышал его, смотрел на танцующих.

Митя Лопухин постучал в окно флигелька, в котором жила смотрительница.

— Энциклопедию? — переспросила старушка, высунувшись в окно. Была она уже в ночной рубашке и чепчике, только на плечи накинула вязаный платок.

— Ну да, энциклопедию.

— На «эм»?

— Ну да, на «мэ». Я Митя Лопухин из первого отряда. Может, вы меня помните? — объяснял он. — Я Звездича играю.

— Князя Звездича? — всплеснула руками старушка. — Хорошо, очень хорошо. — И тут же появилась с книжкой в золотом переплете. — Прошу вас, князь, — сказала обезумевшая старушка, ничего не соображая со сна.

— Спасибо, — сказал Лопухин.

— Спасибо вам, — почему-то отвечала старушка, мелко кланяясь.

Лопухин присел на лавку, раскрыл книгу и, найдя нужную страницу, прочитал: «Миазм, мигрень, мизантропия... Нелюбовь, ненависть к людям».

Он захлопнул книгу и некоторое время сидел задумавшись.

На площадку Митя не пошел, встал около заборчика так, чтобы проклятой ноги с веранды не было видно.

Мимо «плыл» Лебедев со своей дамой.

— Саша. Лебедев, — снова позвал Митя.

— Я? — удивился Лебедев.

—Ты. Ты. Поди-ка сюда.

—Извини, — расшаркался Лебедев перед девочкой. Она печально посмотрела ему вслед.

— Саша, ты инструмент достать можешь? — спросил Митя.

— Инструмент? Какой?

— Молоток, стамеску. Может, ножницы, — перечислил Лопухин.

— Я не знаю. Поискать надо, — вздохнул Лебедев. — А когда нужно?

— Сейчас.

— Постараюсь, — сказал Лебедев и с грустью посмотрел на девочку, которая махала ему рукой.

На освещенной луной полянке Лебедев развернул чехол, в котором лежал целый набор разнообразных инструментов. Щелкнул садовыми ножницами, потом взял стамеску и, поплевывая, стал точить ее на обломке кирпича.

— Ну чего ты тянешь, — торопил его Митя.

— Спешка, Митя, нужна только при ловле блох.

Лебедев приладил стамеску к Митиному гипсу.

— Так-с, аккуратненько... Ну что? — спросил он Митю.

— Бей, — решительно сказал Лопухин.

— Оп-па! — размахнулся Лебедев и ударил.

Митя завопил от боли:

— Ты что, дурак, что ли? В кость бьешь.

— Ну, а чего, здесь темно, — извинился Лебедев. — Может быть, до завтра так походишь.

— Не похожу. Бей, — приказал Митя.

— Бить? — недоверчиво спросил Лебедев.

— Бей, — еще раз повторил приказание Лопухин.

— Ладно. Оп-па, оп-па! — приговаривал, постукивая молотком, Лебедев. Иногда молоток соскакивал, и Лебедев чертыхался, а Митя вздрагивал, но терпел, смотря в бездонное звездное небо.

С танцплощадки доносилась музыка.

На сцене усадебного театрика стояла кушетка красного дерева, обтянутая зеленым сукном, рядом подставка для цветов, а на подставке, в вазочке, торчали ромашки. Слева стоял маленький столик, за которым сидели несколько ребят, и среди них Лебедев. Лебедев сдавал карты.

— Шесть, шесть, шесть, шесть. А во что играть-то? — повернулся он и спросил у Сережи, который сидел за столом в зале.

— Ну, играйте пока в «дурака», — сказал Сережа.

«Маскарад». Акт первый

— Ладно. Козырь пика, — объявил Лебедев.

За столом, так же как и в зале, рассмеялись.

На сцене, облокотившись о подставку для цветов, стоял Лунев. Рядом, с другой стороны, — Фуриков. Лопухин сидел на кушетке, обхватив голову руками.

— Фуриков, сними шляпу, — попросил Сережа.

— Пожалуйста.

— Лунев, начинай, — крикнул Сережа.

— Ну что, уж ты не мечешь, а, Казарин? — прочитал Лунев по бумажке, и Фуриков ухмыльнулся.

— Смотрю, брат, на других... — сказал Фуриков, широким жестом показав на ребят, шлепающих картами по столу. — А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин. И позабыл товарищей своих! — нагловато обратился Фуриков к Луневу.

Картежники, а вместе с ними и сидящие в зале, просто зашлись от смеха.

— Ну подождите, подождите, — уговаривал их Сережа, сам еле сдерживаясь от смеха. — Все хорошо. Ладно, давай, давай!

— Но здесь есть новые... — сказал Лунев и мотнул головой в сторону стены, где на стульчике, на отшибе, сидел маленький радист, болтая ножками, — они не доставали у него до пола. — Кто этот франтик?

— Шприх... — не моргнув глазом, ответил Фуриков.

И снова весь зал рассмеялся. Кто-то бил себя по коленкам, кто-то свалился под стул.

— Кончайте, — взмолился Сережа. — Подождите, подождите. Ну, подождите. Лопухин, сядь. Загремухина, выходи, — махнул он рукой.

На сцене появилась Загремухина с веером.

— Ах, князь! — жеманно сказала она.

— Давай, Лопух, — подсказал Лунев.

Лопухин нехотя поднялся с кушетки.

— Я был вчера у вас с известьем, что наш пикник расстроен, и спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен, — протараторил он довольно невнятно.

— Мне жаль,— пропела Загремухина, обмахиваясь веером.

— А я так очень рад. Пикников двадцать я отдам за маскарад.

— Лопухин! — остановил его Сережа.

— Чего?!

— Ты вообще понимаешь, кто такой Звездич?

— Звездич? — переспросил Лопухин. — Князь...

— Вот ты сейчас стоишь тюфяк-тюфяком, а Звездич про себя твердо знает, что он самый умный, самый красивый, самый обворожительный мужчина на свете. Понимаешь?

— Нет.

— Почему? — спросил Сережа.

— Князь что, болван? — сказал Лопухин и оглянулся на Загремухину, стоявшую рядом. — Перестань трусить веером.

— Но почему болван, Митя? — удивился Сережа — Ну просто попадаются иногда на свете такие люди. В общем, даже неглупые, очень удачливые и оттого веселые. Таким прекрасно живется на свете. Их все любят. Понимаешь?

— Нет, — твердо сказал Лопухин. Он этого не понимал и не хотел понять.

— Жалко, — вздохнул Сережа и встал. — Ну, тогда на сегодня все. Репетиция закончена. — Он захлопал в ладоши. — Все. Гуляйте.

За кулисами к Лопухину подошла Загремухина, по-прежнему вертя в руках веер.

— Митя!

— Что? — спросил он, едва к ней повернувшись.

— Кошмарная все же женщина, верно?

— Кто? — не понял Лопухин.

— Да вот. — Она пожала плечами и повертела в руках веер. — Баронесса Штраль.

— Да-а, — сказал Митя задумчиво. — Послушай, Загремухина!

Загремухина подняла на него глаза.

— А я правда похож на тюфяк?

— На тюфяк? — печально спросила Загремухина. — По-моему, не очень.

— Понятно. А ты не можешь меня научить танцевать?

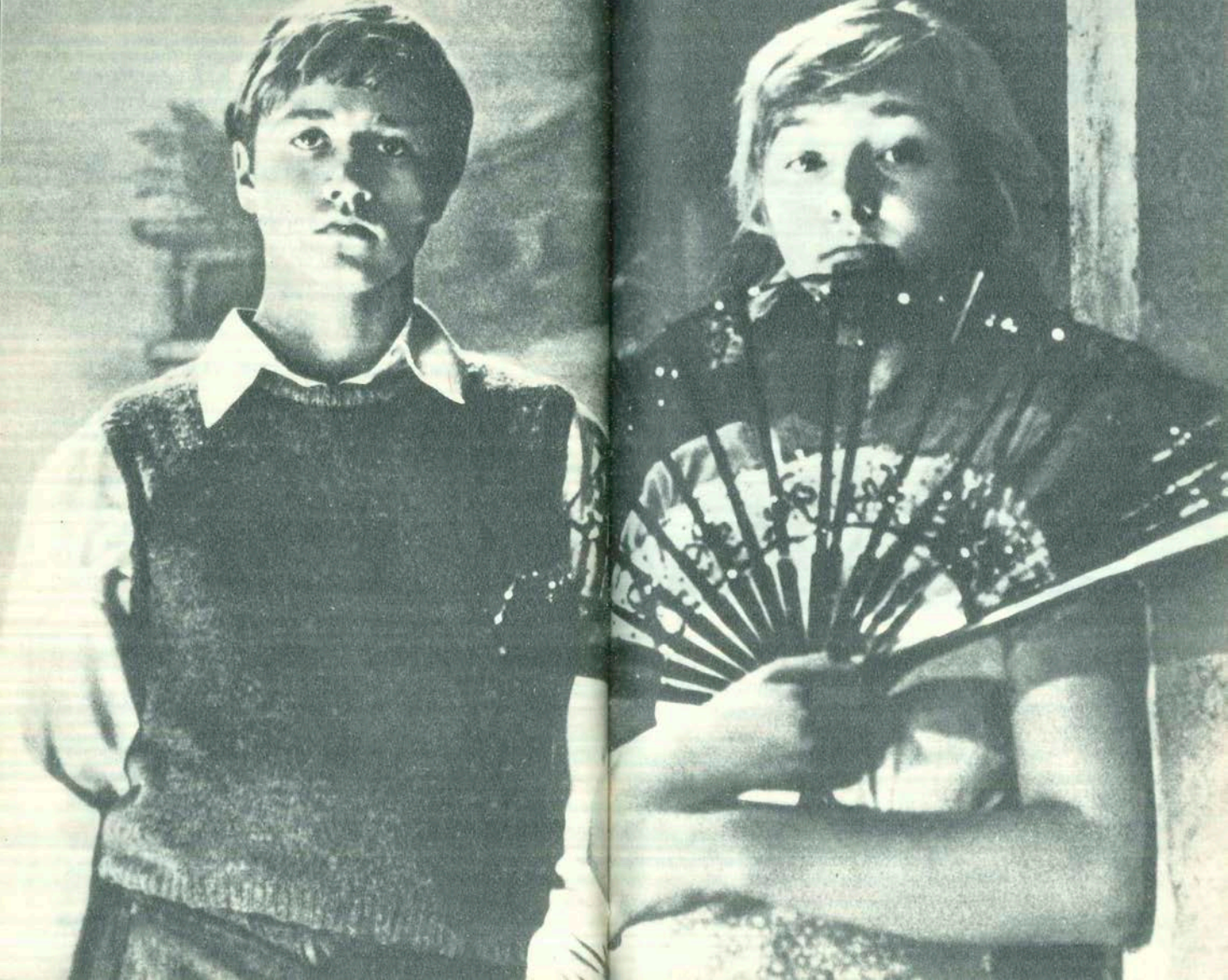
— А ты совсем не умеешь? — удивилась Загремухина.

— Совсем.

— Ладно. Я научу, — просветлев, сказала Загремухина.

Спускался вечер, запасные курепинские ворота неясно маячили вдалеке. Предвечерний туман путался в высокой траве, в кустах. Митя с Загремухиной танцевали посредине поля.

— Давай, — сказала Загремухина. — Раз, два, три... Раз, два, три... Вот видишь, у тебя уже получается. А ты считай пока: раз, два, три... раз, два, три... раз, два, три...



— Раз, два, три... — вторил ей Лопухин.

— Это ты для Звездича учишься? — спросила Загремухина, склоняя голову к его плечу.

— Нет, так, на всякий случай...

— Ясно. А у тебя, правда, получается. Ты какой-то легкий, Митя... Раз, два, три... Раз, два, три... Интересно, все говорят, что Глеб лучше всех танцует, а я не нахожу. Он ногами двигает ловко, а сам будто спит...

— Ничего, — ответил ей Лопухин. — Скоро он у меня проснется. Это я тебе обещаю.

— Ты что, Митя? — взволнованно спросила Загремухина.

— Ничего. Танцуй, Соня, танцуй. Раз, два, три... Раз, два, три... Раз, два, три...

— Тюфяк! — вдруг вспомнила Соня. — Кто сказал тюфяк? Это ты-то тюфяк? Господи, обхохотаться можно.

По пояс они были скрыты травой и стелющимся туманом. Загремухина напевала, слегка прикрыв глаза, и, казалось, была счастлива.

■

И опять на сцене театра стоял Глеб с тетрадкой, в которой была роль, рядом с ним — Ерголина. В глубине сцены, возле маленького клавесина, сидел, изредка нажимая на клавиши, Митя Лопухин.

Сережа из зала руководил репетицией.

— Давай, Глеб, еще разок попробуем. Только скажи искренне, от сердца, — попросил Сережа.

«Маскарад». Акт второй

— Я не могу от сердца, — сказал Лунев.

— Почему? — спросил Сережа.

— Потому что не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Ведь он же умный человек.

— Кто? — не понял Сережа.

— Арбенин.

— Конечно, не дурак, — усмехнулся вожатый.

— Ну, а чего же он тогда такие несуразности плетет? — Лунев показал тетрадку с текстом.

— Какие несуразности? — спросил Сережа.

— Ну вот, пожалуйста, к примеру, — сказал Глеб и заглянул в тетрадку. —«Все, что осталось мне от жизни, это ты — созданье слабое, но ангел красоты: твоя любовь, улыбка, взор, дыханье... Я человек, пока они мои, без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существованья!» А?!

— Ну и что? — опять не понял Сережа.

— Хорошо, я объясню, — спокойно сказал Глеб. — Если Арбенин: первое, не дурак, второе, не старая развалина, для которого все в жизни кончено, так сказать, естественным порядком, если у него нет никаких тайных соображений, то, я думаю, он лукавит. Иначе — я не понимаю.

Лопухин меланхолически несколько раз нажал клавишу клавесина и обратился к Луневу:

— Слушай, Лунев. Чего ты все не понимаешь, а?! Ты же ведь вроде неглупый малый, Лунев. А для чего же ты придуриваешься?

— Я не придуриваюсь. Я искренне не понимаю.

— Чего?! — спросил Лопухин и снова нажал клавишу.

— Арбенина, — повысил голос Лунев. — Перестань пиликать. Его слов про жизнь и смерть, которые могут зависеть от какой-то Нины.

— Он ее просто любит, Лунев, — тихо сказал Митя.

— Но не до такой же степени, — прокричал Лунев, начиная раздражаться.

— До такой.

— Но не бывает же так, Митя, — выкрикнул Глеб.

— Бывает, — снова очень тихо ответил Лопухин.

— Да это же нормальному человеку выговорить невозможно. На! Попробуй! Иди почитай.

— Давай, — сказал Лопухин, и сам удивился своей решимости. Он встал и подошел к Глебу. — Откуда?

— Вот отсюда, — отчеркнул Глеб ногтем в тетрадке.

— Отойди, пожалуйста, — попросил Митя Лену.

— Я? — удивилась она.

— Ты.

— Пожалуйста. — Она отошла за кулису, несколько раз оглянувшись по дороге.

Вдруг наступила тишина.

— «Я странствовал... — сказал Митя глухим, каким-то странным голосом, очень тихо, без выражения почти. — Играл, был ветрен и трудился, постиг друзей, коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился...»

Все слушали Митю внимательно, даже несколько ошарашенно. Митя голоса не повышал, но, тихий, он звучал откуда-то из глубины, из самых дальних уголков его души, и не поверить ему было нельзя.

— «Все, что осталось мне от жизни, — это ты: созданье слабое, но ангел красоты. — Митя почувствовал, как перехватывает у него дыхание, и положил руку на горло. — Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье... Я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существованья...»

— Вот и все — сказал он вдруг совсем просто. — Жутко любит, до смерти. Вот и все.

В зале было очень тихо.

— Слушай, Лопухин, — сказал вдруг Сережа после некоторого молчанья, — я не знаю, есть ли у тебя талант, но ты соображаешь, чего говоришь. Это тоже не так мало.

— Вот пусть Лопухин Арбенина и играет, — предложил Лунев без обиды. — Раз он все понимает...

— А чего, правда, рвани Арбенина, Лопух! — выкрикнул из зала радист.

— Ну, киньте жребий, — предложил Фуриков.

— Ну зачем жребий? — Лунев подошел к Лопухину и хлопнул его по плечу. — Давай, Мить, а? Махнемся, так сказать, без обид. А я Звездича... А?!

— Нет, Фуриков прав, — фатальным голосом сказала Загремухина. — Пусть судьба решит. Жребий.

В шляпу бросили две бумажки. Первым тянул Митя.

— Ну чего там? — в нетерпении спросил Фуриков.

— Арбенин, — прочитал Митя и почему-то оглянулся на Лену, которая все еще стояла в полутьме кулисы.

Лена опустила голову.

■

«Спим? Прекрасно. Дышим ровно? Очень хорошо...» — размышлял про себя Лопухин, посматривая на своих спящих товарищей.

Было раннее утро.

Он собрал свои вещи под мышку и вылез через окно из палаты.

«Что ж, приятных сновидений...» — оглянулся он в последний раз.

Бессонница. Середина лета

«Итак, продолжим. Как это там дальше?»

Было совсем тихо.

Над рекой еще клочьями плыл утренний туман. Купальня была в росе, а лилии и кувшинки на черной воде еще не раскрывались.

«Два часа ночи. Не спится, а надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала...» — вспоминал он из Лермонтова.

Было холодно, тряс озноб.

Он снял рубашку, брюки и остался в одних трусах.

«Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно...»

Митя осторожно зашел в воду по грудь. Не вынимая рук из воды, стал быстро работать ими, — так, он знал, тренируются боксеры.

Брызг почти не было, и вода расходилась от него упругими кольцами.

Зеленые листья кувшинок покачивались на волнах.

«А что, если его счастье перетянет, если моя звезда мне изменит? Что ж! Умереть так умереть, потеря для мира небольшая. Быть может, завтра я умру и не останется на земле ни одного существа, которое бы меня поняло. Наконец, совершенно рассвело. Нервы мои успокоились... Итак, решено — дуэль!»

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, сем... — отжимался Митя на мостках и, обессилев, упал грудью на мокрые доски.

«Итак, решено — дуэль!» — подумал он, тяжело дыша.

Барабанные палочки выбивали сухую дробь, играл горнист, и флаг, распрямляясь на ветру, медленно шел вверх.

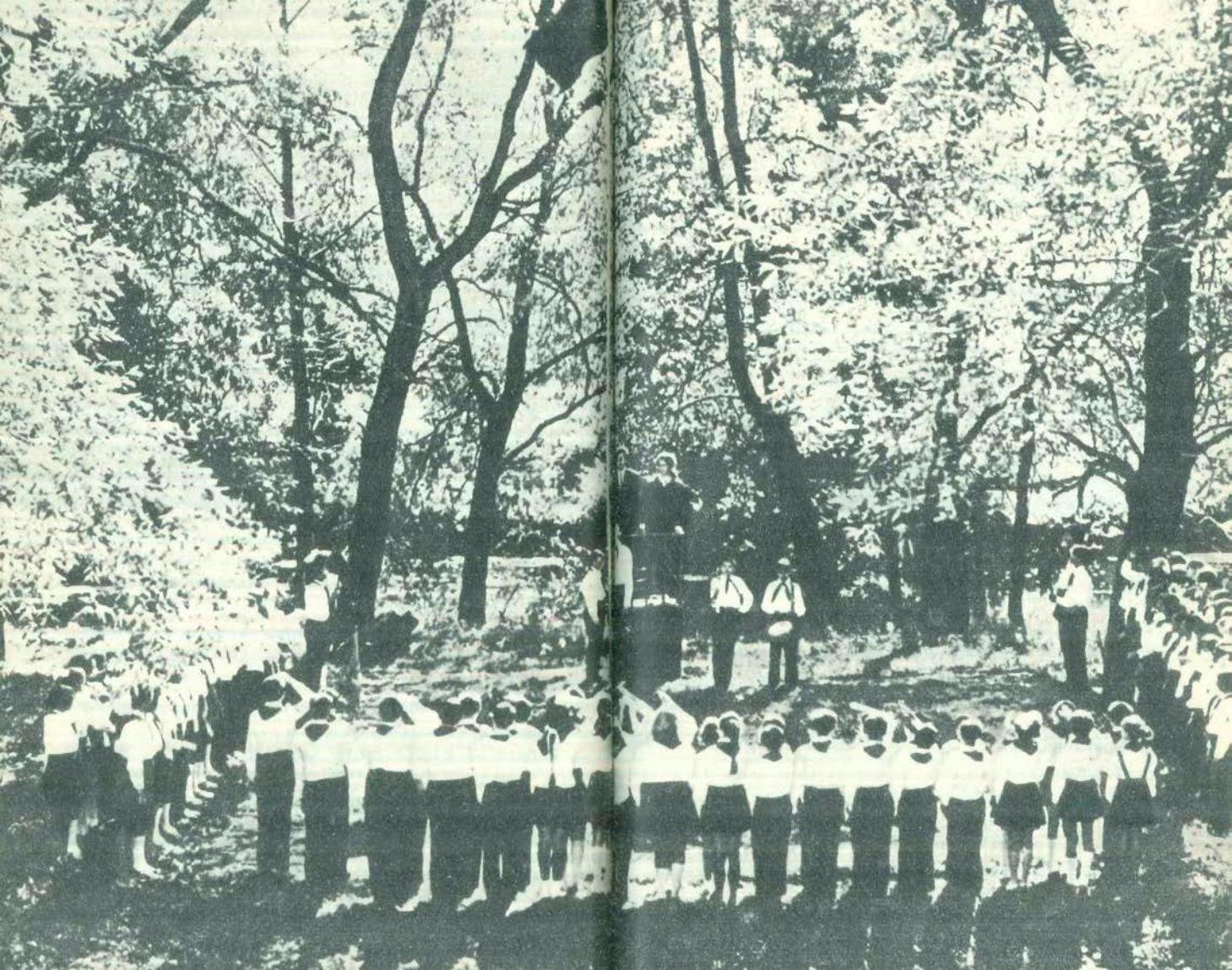
Весь их маленький лагерь выстроился на линейку. Ребята стояли по краям небольшой четырехугольной полянки, засыпанной желтым песком, а вокруг густо росли старые лохматые деревья.

Флаг громко хлопал на ветру.

Вперед вышел директор лагеря.

— Ребята! — сказал он. — Сегодня всем лагерем мы едем в соседний колхоз. Вас пошлют на капусту. Работа нетрудная, но требует внимания и аккуратности. От вашего труда зависит урожай ценной культуры. Лучший отряд на капусте получит сегодня за обедом двойную порцию консервированного компота из вишен. Ну как, нравится?

— Нравится, — хором ответили ему.



— Ну, а остальным, уж извините, — директор развел руками, — как обычно — кофе с молоком.

Смех пронесся по рядам.

■

Грузовик трясся по проселку. На длинных скамейках в кузове сидел весь первый отряд. Пели все, что приходило в голову, обнявшись, раскачивались из стороны в сторону; падали, смеясь, друг на друга, когда грузовик бросало на рытвинах.

Вожатый Сережа пел вместе со всеми и подкидывал в такт песне футбольный мяч.

Компот из вишен

Работали на огромном капустном поле, тянувшемся вдоль реки.

Ребят было много и раскиданы они были до самого горизонта, и каждый одиноко шел в своей борозде, отчего вдруг начинало казаться, что их совсем мало. Многие сидели на корточках, и издалека казалось, что они совсем малюсенькие, слабые, крошечные, как муравьи, и такой работы им не одолеть.

— Эй ты, в шляпе! Вы курепинские, что ль? — спросили Фурикова из соседней борозды.

— Ну, курепинские... — недовольно повернулся Фуриков. Перед ним сидел голый до пояса парень, на руке у которого была татуировка «Витёк». — А вы откуда? — поинтересовался Фуриков.

— Из Тимохина...

— Деревенские?

— Ну да, деревенские. Давай после работы пузырь катнем, — предложил парень.

— А? — не понял Фуриков.

— В футбол, говорю. К летчикам пойдем. На задики.

— На задики? — переспросил Фуриков.

— Ну да, на задики. Ну?

Фуриков встал и, сложив ладони рупором, закричал в другой конец поля:

— Эй, Лунь!

— Чего?! — приподнялся Лунев.

— Деревенские предлагают в футбол.

— А как же работать? — Лунев распрямился и вытер пот со лба, потом огляделся по сторонам, кругом копошились ребята.

— Как отработаем, — крикнул Фуриков.

— Ну ладно. Давай, — махнул рукой Лунев.

— Петруха, — протянул руку деревенский парень. — Тебя как зовут?

— Фуриков! — Фуриков тоже протянул свою руку. — Только ты на счет шляпы поаккуратнее.

— Ладно. А меня зовут Вершков.

Они пожали друг другу руки.

— Дождь будет, — сказал Вершков, посмотрев на небо, где бежала одинокая пепельная тучка.

— Слушай, Вершков, — спросил Фуриков, разглядывая из-под руки все ту же тучку. — А как это — на задики?

— Не важно, — буркнул Вершков. — Там разберемся.

Прямо на аэродроме было небольшое футбольное поле. Рядом, задрав носы в небо, стояли скромные самолеты местной авиации.

Всей гурьбой ребята перекатывались то к одним, то к другим воротам. Лунев был капитаном и отчаянно сражался за мяч.

Взмыленный Сережа носился с одного конца поля на другой. Он судил матч.

Болельщики то вскрикивали восторженно, то затихали, когда нависала угроза.

От деревенских болельщиков время от времени доносился замысловатый фигурный свист.

Несколько авиамехаников в комбинезонах наблюдали за игрой.

— А он ничего, — сказала вдруг Загремухина Ерголиной, которая сидела на траве рядом с ней. — Ловкий...

— Кто? — спросила Ерголина и чуть покраснела.

— Глеб, — объяснила Загремухина. — Только самодовольный какой-то...

— Ну и что? — спросила Лена.

— Ты извини, я не знала, — пожала плечами Загремухина. — Может быть, у вас отношения?

— Какие еще отношения? — удивилась Ерголина.

— Я не знаю, — опять пожала плечами Загремухина.

— И я не знаю. — Лена отвернулась и посмотрела в поле.

В это время Мите, который стоял в воротах, вбили гол.

— Дырка! — зло сказала она.

Сережа трижды свистнул в судейский свисток, скрестил руки над головой и объявил конец игры. К нему, тяжело дыша, подошли Вершков и Лунев.

— Ну что? — спросил Сережа.

— Битте-дритте, — сказал Витёк. — Прошу в ворота.

— Кто пойдет? — спросил судья.

— Вратарь и капитан. По десять пузырей, — сказал Витёк и растопырил пальцы на обеих руках.

— Понял? — печально спросил Сережа у Лунева.

Тот безразлично пожал плечами.

Глеб и Митя, наклонившись, стояли в воротах.

Вершков установил мяч на одиннадцатиметровой отметке.

Деревенские разбегались и били по мячу, часто попадая то одному, то другому в зад. Мите было мучительно стыдно.

— Ты чего затих? — тихонько спросил его Глеб. — Не расстраивайся... — В это время мяч попал ему в зад. — Меткий, гад! — процедил Глеб сквозь зубы.

Похоронным табунком стояли «курепинские» в противоположных воротах и смотрели на экзекуцию.

— Варварство, — вздохнула Загремухина, переживая за ребят, и отвернулась.

Слышались глухие удары по мячу.

— Да брось... — снова сказал Лунев Мите. — Мы свое на другом возьмем. Есть тут у меня один планчик.

В это время мяч опять попал в Глеба.

— Тренированные, — заметил Глеб. — Снайпера!

У прозрачного родника, раздетые по пояс, мылись Лунев, Лопухин и Витёк Вершков.

— Хорошо здесь, тихо... Водичка журчит, — сказал Лунев, вытираясь майкой. — Слушай, ты бумажки выписывать будешь? — спросил он у Витька.

— Какие бумажки? — не понял тот.

— Капустные, — объяснил Глеб. — Для лагеря.

— Ну? — Витёк не очень понимал, о чем идет речь. Он, моргая, смотрел на Лунева.

— Я тебя прошу такую штуку сделать. Общую выработку оставь как есть. — Вершков, сидя на корточках у родника, внимательно слушал. — А внутри пиши всем отрядам поровну. Чтоб без обид, понимаешь? Ну, а нам мысок впиши.

— Какой мысок? — спросил Витёк.

— Ну, помнишь, все поле ровное, а на косогоре мысок, вот мы его и делали.

— Ладно. Делали, значит, впишу, — согласился Вершков.

В небе громыхнуло, и они все втроем задрали головы. Полнеба было затянуто грозовыми тучами.

Шли через поля. Дождь был довольно сильный, но солнце не скрылось, отчего ливень казался прозрачным. Шли, надев мешки на голову. Приплясывали, пели. Ясно было, что дождю все рады.

Ксения Львовна и Сережа шли под цветастым японским зонтиком и весело переговаривались.

Митя уныло шел рядом с Лебедевым, не приплясывал, не пел, как остальные.

— Сороконожка! — показал Лебедев глазами на идущих впереди.

Митя прибавил шагу, обогнал и обернулся. Под кулем он увидел Глеба и Лену. Глеб держал накидку над ними обоими, отчего казалось, что он обнимает Лену. Они смеялись, разговаривали.

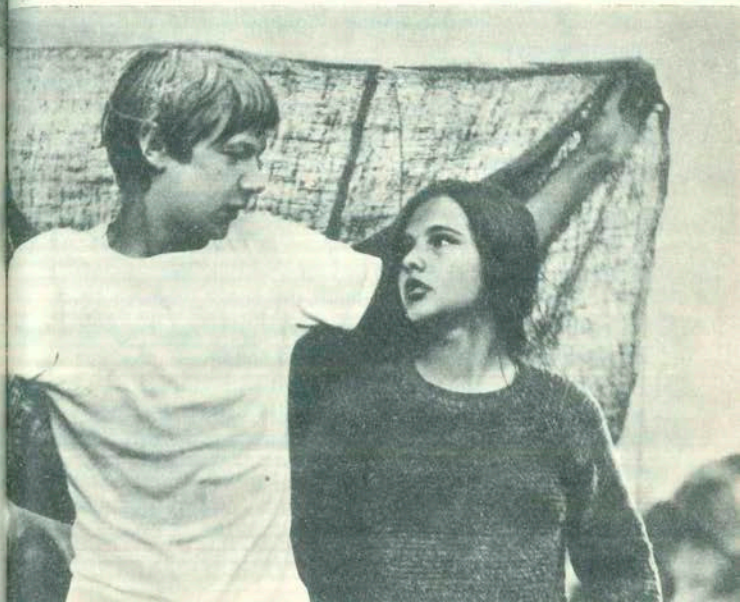
— Тебе чего, Лопух? — весело спросил Глеб.

— Ничего. — Митя отвернулся.

Шли в мешках через светлый дождь, радовались, кричали.

В столовой своим чередом шел обед.

Фуриков и Загремухина внесли в столовую большой поднос, накрытый белой салфеткой.



— Почтеннеишая публика! — сказал Глеб и, поднявшись, постучал вилкой о стакан. — Прошу внимания! — Все утихли. — Фуриков! Сделай нам, пожалуйста, алле-гоп!

— Алле-гоп?! — переспросил Фуриков.

— Ну да, алле-гоп! — подтвердил Лунев.

— С нашим удовольствием, — приподнял шляпу Фуриков. — Алле-гоп!

Он царственным жестом сорвал белую салфетку.

На подносе стояли стаканы с рубиново-красным вишневым компотом.

Первый отряд радостно завопил, застучал вилками и ложками по столу, а потом с шумом накинулся разбирать стаканы.

— Прошу разбирать, — сказал Глеб и сел.

— Гип-гип! Ура! Ура! Ура! — все чокнулись стаканами.

Потом с удовольствием ели компот.

Лишь перед Митей стакан стоял нетронутым.

— Слушай, — сказал Фуриков Глебу, выплевывая косточку. — А у меня ощущение создалось, что все примерно поровну идут.

— Так и шли примерно поровну, — подтвердил Глеб и тоже сплюнул косточку. — Мысок все решил. Ну и капля сообразительности.

Его внимательно слушали, однако про компот не забывали.

— Послушай, Лунев, — сказал вдруг Лопухин громко. Голос его дрогнул и сорвался. — А ведь мысок мы не делали.

— Отчего же? — совершенно спокойно спросил Глеб.

— Ни отчего, — ответил Митя. — Не делали, вот и все! Если хочешь, я тебе скажу, кто его делал.

—Кто?

Все за столом смотрели на них.

— Его делали Ксения Львовна и Сережа. Что ты на это скажешь?

— На это я скажу тебе, Лопухин, что ты, верно, этого

компота просто не хочешь. Может, ты его не любишь, а может, ты уже сыт. Ты ведь два вторых умял, по обыкновению, в связи со слабостью организма, — зло закончил Лунев.

— Нет, Лунев, — сказал Митя нехорошим, каким-то странным голосом, — я компот люблю, но ворованных компотов не пью. А ты пей!

Он взял стакан и неожиданно выплеснул компот Луневу в лицо.

— Ты что, Лопухин... — схватилась руками за щеки Загремухина, — сумасшедший?!

Остальные молчали.

Вишневый компот стекал по лицу Лунева на белую рубаху и окрашивал ее в ядовитый цвет крови. Лунев потрогал свое лицо и посмотрел на пальцы.

— Ты думаешь, Лопухин, я тебя сейчас ударю, — сказал он. — Начнется драка, прибегут, нас разнимут, и дело с концом? Нет, Митя, ты ошибаешься. Я тебя сейчас бить не буду, но потом я тебя трону... Я тебя так трону, Лопухин, что ты будешь вспоминать об этом всю свою несчастную жизнь!..

Все сидели не двигаясь.

Митя держал тарелку за края, и она мелко дрожала, звенела, ударяясь о стол.

В лодке, которая была причалена к купальне, полулежал Митя. На корме с веслом сидел Лебедев.

— Хочешь яблоко? — спросил Саша.

— Давай, — безразлично ответил Митя, смотря, как над головой мелко трепещут ивовые листочки.

— Только у меня одно, — предупредил Лебедев. — Я разломаю... — Он поднатужился и разломил яблоко.

— Держи, — сказал Лебедев и протянул Мите половинку.

— Спасибо, — буркнул Митя и принялся за яблоко.

— Я не помешаю? — На мостках рядом с ними стояла Загремухина.

— Помешаешь, — поспешил печально сказать Лебедев.

— Почему же! — перебил его Митя. — Ты даже можешь сесть, Загремухина.

— А как я к вам попаду?

— А вон, через будку, — указал Лебедев.

— Ладно.

— Интересные люди, — бормотал Лебедев, подтягивая лодку к будке. — Ничего сами головой сообразить не могут. Прыгай, — приказал он Загремухиной, придерживая лодку.

Загремухина перебралась к ним и села рядом с Лебедевым на корме. Митя по-прежнему полулежал.

— Ты извини меня, Загремухина, но у меня больше яблока нет, — сказал Лебедев.

— Ничего. Я компота наелась, — успокоила его Загремухина. — Лебедев, оставь нас, пожалуйста, ненадолго. Мне Мите два слова сказать надо, — попросила она Лебедева.

— Ну, я пойду? — спросил Лебедев у Мити.

— Ступай, Лебедек! — махнул Митя рукой.

Лебедев, кряхтя, вылез из лодки на мостки и ушел, приговаривая:

— Делу время, потехе час. Пока, пока...

— Я тебя слушаю, Загремухина, — сказал Митя.

— Что же ты наделал, Митя? — словно жалея его, произнесла Соня.

— То, что считал нужным.

— А что ты считал нужным?

— Говорить негодяям правду в лицо.

— И это все?

— Все.

— Ты мне врешь, Лопухин, — грустно сказала Соня, смотря на воду. — Особенно печально то, что ты врешь и себе... Это меня просила передать тебе Лена.

— Почему тебя?! Почему бы ей самой не спросить у меня то, что ее интересует? — закипая ненавистью, вопрошал Митя. — У нее что, язык отнялся? Ее разбил паралич? Она скончалась? Что же происходит?!

В парке по репродуктору сыграли веселую музыку, и знакомый голос Ксении Львовны объявил:

— Открываем вечер отдыха и развлечений. Первое отделение — концерт. Номера оцениваем на очки. Отряд, набравший наибольшее количество очков, ожидает сюрприз...

— Интересно, какой?.. — спросил Лопухин. — Компот мы уже весь выпили...

— Перестань, Митя... — попросила Соня.

— После концерта — подвижные игры на воздухе! — закончила Ксения Львовна, и опять заиграла музыка.

— Пойдем туда, Митя, — заволновалась Соня. — Правда, пойдем. А то если тебя там не будет, то все действительно подумают, что ты...

— Что я? — перебил Митя и посмотрел ей в глаза.

— Я не знаю... Только, пожалуйста, пойдем, — как-то жалобно звала его Соня.

■

На танцплощадке были расставлены скамейки, где расселся весь пионерский лагерь.

Ксения Львовна была на эстраде. Она с микрофоном в руке вела концерт.

— А сейчас перед вами с парным матросским танцем «Яблочко» выступят пионеры третьего отряда Эрик Крупицын и Саша Камушкин, — объявила Ксения Львовна. — Поприветствуем их!

Из маленькой дверцы в глубине раковины-эстрады вышли танцоры в матросских костюмчиках.

Аккордеонист сыграл туш, и они поклонились публике.

Подвижные игры на воздухе

— Лопухин? — вдруг сказала Ксения Львовна, посмотрев куда-то вверх. — Ты почему сидишь на дереве?

Лопухин лежал на наклоненном стволе старого дерева и смотрел на сцену.

— А что? Я кому-нибудь мешаю? — спросил он вызывающе.

Все сидящие в зале подняли головы. Лопухин оказался в центре внимания.

— Хорошо, — спокойно сказала Ксения Львовна, чтобы не срывать концерт, — и об этом твоем поступке мы с тобой поговорим после концерта. Начали, — обратилась она к танцорам и отошла в сторону, утянув с собой шнур от микрофона.

Аккордеонист сыграл вступление, и мальчики меланхолически задвигали ногами.

Лопухин поискал глазами Ерголину и, как всегда, нашел ее рядом с Глебом. Лица у них были печальные.

Случайно Лена подняла глаза, и Митя быстро отвел взгляд в сторону.

Меланхолический танец продолжался, теперь танцоры сидели на полу и двигали только руками, никак не попадая в такт музыке.

— Митя! — услышал Митя голос вожатого и глянул вниз. Сережа стоял под деревом.

— Слушай, ты не мог бы слезть с дерева?

— Что, и вам я мешаю? — презрительно спросил Лопухин.

— Мне ты не мешаешь, — просто, не обижаясь, сказал Сережа. — Но я хотел бы с тобой поговорить.

— Именно сейчас?

— Именно сейчас, — ответил Сережа.

— Хорошо. — Лопухин спрыгнул с дерева. — Пойдем?

— Пойдем.

А танец меж тем закончился. Мальчики раскланивались под бурные аплодисменты.

Сережа и Лопухин сидели в полутемной комнате для игр, света не зажигая. Сережа задумчиво катал шары по зеленому сукну бильярда и слушал Лопухина.

— Ну, расскажите мне, какой я нехороший, — зло говорил тот. — Это должно у вас ловко получиться. Вы вообще складно говорите. Красиво, длинно, умно... Приятно слушать.

— Спасибо тебе, — сказал Сережа.

— Не за что.

— Кстати, а почему ты решил, что все это Лунев проделал? — спросил Сережа. — Может, сами колхозники ошиблись? Ну, напутали там при подсчете...

— Здрасьте! Напутали! Я же там был, лично, — постучал себя кулаком по груди Митя.

— Где? — не понял Сережа.

— Ну там, где Лунев химичил. Врал про мысок, что мы его делали, и клянчил, чтобы нам его записали.

— Как это — был? — удивился Сережа.

— Обыкновенно. Стоял рядом и слышал.

— Интересно.

— Что?

— Ну, а чего ж ты там все это не сказал? Всей правды. Тогда же.

— Тогда же? — задумался Митя.

— Ну да.

— Я не знаю, — наконец выдавил он из себя.

— Понятно, — грустно отметил Сережа. — Там тебе это было не нужно. Вот и все. Твоя правда стала стоить копейку.

— А что же теперь делать? — заволновался Митя.

— Ничего, — сказал Сережа спокойным голосом. — Теперь иди, Митя, спать.

— А как же теперь спать? — спросил Митя глухо, чувствуя, как перехватывает горло.

— Никак. Обыкновенно, — сказал Сережа и тронул кием шары.

Шары раскатились по зеленому полю.

— Просто спать.

Митя стоял в густой тени дерева, и лицо его было почти неразличимо.

Площадка же, ярко освещенная гирляндами лампочек, развешанных по окрестным деревьям, была перед его глазами. Легкая музыка из громкоговорителя беззаботно и счастливо летала над танцплощадкой, а Митя все стоял и думал, как же так получилось, что все они там, а он один здесь.

Он видел молодую докторшу и Ксению Львовну, которые сидели на барьере площадки и без удержу хохотали.

Он видел Фурикова, с завязанными глазами, но в шляпе, который молотил в воздухе черными боксерскими перчатками.

Он видел, как два малыша, тоже с завязанными глазами, кормят друг друга манной кашей, размазывая ее по лицу; как кто-то, опуская голову в ведро, ловит ртом огурец; как четыре девочки, мелко семеня ногами, несут через шумную,

взбудораженную толпу на головах маленькие тарелки, в которых лежит по яблоку.

Он выискал глазами Лену, и непереносимое страдание опять вернулось. Она сидела рядом с Глебом, а Глеб был невесел, в аттракционах не участвовал. Лена шептала ему что-то на ухо, видимо, утешая, и ее ниспадающие волосы касались Глебовой щеки.

Подвижные игры на воздухе были в разгаре, Ксения Львовна чувствовала себя счастливой, как никогда.

Вокруг и правда царило веселье — шумное, беззаботное...

И Митя вдруг с ужасом понял, как дорого он дал бы за то, чтобы быть сейчас там, ловить ртом огурцы или кормить кого-нибудь манной кашей, может быть, просто смеяться вместе со всеми, — почувствовав это, он устыдился себя, и кошмар навалился еще плотнее.

Почти у самого края веранды проскакал вдруг Лебедев в мешке, завязанном под самым его горлом. Из мешка торчала голова, которой он потешно вертел в разные стороны.

Митя хотел окликнуть его, но из горла вырвался только невнятный глухой хрип. Митя повернулся и, не разбирая дороги, бросился бежать, а шум всеобщего веселья еще долго настигал его.

Он выбежал к реке и бессильно остановился возле черной густой воды. Звука его отчаянных рыданий почти не было слышно, только тело его вздрагивало, сотрясалось, словно под ударами.

Потом, истомившись, он сидел, поджав ноги, на песке, слабо чувствуя, как ночная сырость окружает его, проникая ему прямо в душу; он сидел, полузабывшись, и никто не вспомнил о нем, не пришел...

Ранним утром лагерь умывался у длинных рядов умывальников.

Было солнечно и тепло. Стоял гулкий хохот и звон — бессмысленный и счастливый шум радости и здоровья.

Сережа плескался под умывальником, умываясь после бритья.

— Сережа, эй, Сережа! — позвал его маленький радист.

— Да, — посмотрел на него Сережа, щурясь, чтобы мыло не попало в глаза.

— Вас срочно просит зайти на танцверанду Ксения Львовна. Говорит, очень важное дело.

— Где танцверанда? Почему танцверанда? — недоуменно спросил Сережа.

— Я не знаю, — пожал плечами радист.

— Ну ладно, зайду, — сказал Сережа и снова стал фыркать, плеща себе воду в лицо.

Ребята вокруг него поливали друг друга водой, таскали за ноги, кто-то на руках танцевал вальс — короче, творили черт знает что, но он не обращал на них никакого внимания...

Ксения Львовна сидела у пианино, разучивая песню с двумя девочками из младшего отряда.

— Потолок ледяной, дверь скрипучая... — тянули девочки нетвердыми, срывающимися голосками.

— Здрасьте, — сказали они, увидев Сережу, и вежливо поклонились.

— Сереженька, — оглянулась Ксения Львовна, — как хорошо, что вы пришли.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Нет, мне просто нужно с вами посоветоваться. — Ксения Львовна подошла к нему и взяла его за руку выше локтя. — Вы знаете... Присядьте...

— Да? — сказал он и сел за столик, стоявший тут же.

— Вы знаете, положение становится нетерпимым, — печально начала Ксения Львовна.

— Больше петь не будем? — напомнили про себя девочки.

— Будем, но потом, — отпустила их Ксения Львовна.

— До свидания, — опять очень вежливо поклонились девочки.

— Два подростка ненавидят друг друга...

— Да, — задумчиво сказал Сережа.

— Само по себе это отвратительно. С этим надо кончать.

— Да...

— Поэтому я предлагаю педагогический эксперимент.

— Эксперимент? — удивился Сережа.

Мальчик, рисовавший плакат на веранде, стал прислушиваться к их разговору.

— Ты почему не рисуешь, мальчик? — строго спросила Ксения Львовна.

— Я рисую, — сказал тот и отвернулся.

— Рисуй, рисуй, — поддержал Ксению Львовну Сережа.

— А давайте пошлем их вдвоем в село за сметаной. Сметану они повезут на телеге. Пусть волокут ее, так сказать, в одной упряжке. Вам это как?

— А чего же. Пусть, правда, прогуляются, — сказал он как- то неопределенно и пожал плечами.

■

Среди сухой желтой травы по опушке леса тянулась дорога. Двое ребят тащили по дороге тележку с бидонами.

Неожиданный ливень. Август

Ветер усиливался; издалека, от горизонта ползли огромные сиреневые тучи. Птицы замолкли, только шелестела сухая трава, и первые, едва различимые раскаты доносились сюда.

Телегу волокли молча, глядя прямо перед собой на дорогу.

— Ну, хватит, Лопухин... — Глеб не выдержал первым. — Что мы с тобой, как два идиота, друг на друга дуемся?

Митя молчал.

— Мир, Лопухин? — напрямик предложил Глеб.

— Нет, — мрачно, не повернув головы, ответил Митя.

— Почему? — удивился Глеб.

— Потому что мнения своего я о тебе не переменил.

Теперь умолк и потупился Глеб.

— Я и сегодня, Лунев, думаю, что ты подлец, приписчик и вор...

Они остановились и выпустили ручку телеги из рук, она плавно подпрыгнула вверх. Бидоны звякнули.

— И потом, — продолжал Митя, глядя на Лунева с необыкновенной злостью, — ты обещал как-нибудь тронуть меня так, чтобы я вспоминал об этом всю свою жизнь, которую ты назвал «несчастной». Ты передумал?

Лунев молчал.

— Что скажешь, Лунев?

— Что я тебе скажу? — переспросил Лунев. — Ну для начала я скажу тебе, отчего ты бесишься, откуда болезнь. Ты враль, Лопухин. Тебе нравится врать про какие-то невиданные чувства, которых на свете не было и нет. И еще ты ищешь дурачков, которые вдруг поверят тебе. Но дурачков таких нет! А меня ты, Лопухин, ненавидишь правильно. Потому что меня любят, любят просто так, безо всякого возвышенного вранья.

— Ты подлец, Лунев! — повторил Митя твердо.

Глеб коротко размахнулся и сильно ударил Митю. Тот опрокинулся навзничь. В этот момент хлынул дождь.

— Ты этого хотел, Лопухин? — спросил Глеб, подставляя лицо струям дождя.

Митя с усилием поднялся, отирая рукавом кровь, что бежала из разбитой губы. Кровь путалась с водой, испачканная кровью рубашка плотно прилипла к телу.

— Ты подлец, Лунев! И я тебя ненавижу, — закричал Митя. — Ты понял?

Глеб ударил еще раз, но промахнулся. Митя тоже исхитрился ударить, они сцепились, но, не устояв, упали на мокрую глину дороги и покатились борясь.

— Врешь, Лунев. Врешь, — хрипло говорил Лопухин. — Все это не так просто. Понял?

Лунев боролся молча.

Хлестал сильный отвесный дождь.

Вдруг они затихли одновременно, будто замерли.

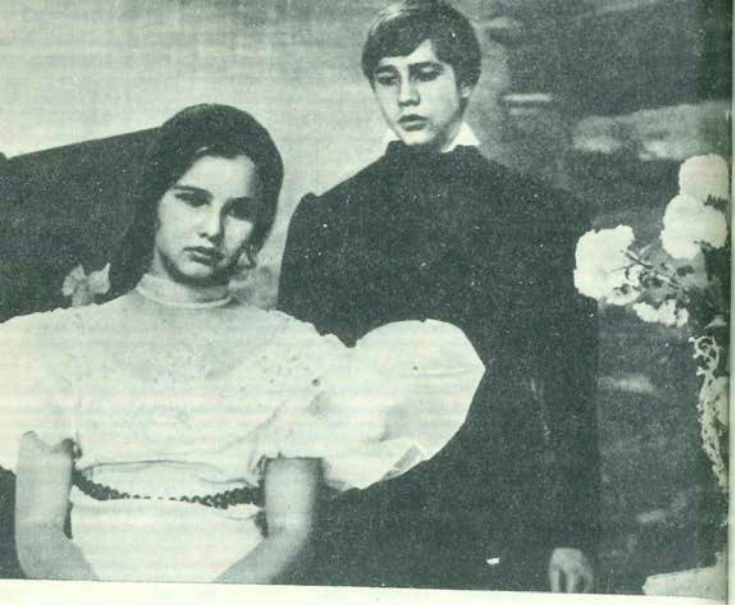
— Митя? — вдруг спросил Глеб. — Что же это мы с тобой делаем? А, Митя? — Но Митя не отвечал. — Ведь ты прав, прав. Кругом прав. Я и сам знаю, что сподличал... Только я думать про это не хотел...

Дождь хлестал прямо по плечам. Они сидели среди луж по середине дороги, телега с бидонами стояла рядом.

Дождь ослабевал, туча уходила, в воздухе пахло свежестью, а там, над лесом, у самого горизонта, небо становилось ясным.

Митя в черном сюртуке сидел перед зеркалом. Рядом суетилась Соня Загремухина.

Под глазом у Мити был здоровый лиловый фингал.



— Боже, это невероятно. Это же надо быть таким идиотом, Митя, а? — сокрушалась Загремухина, закрашивая Мите синяк гримом из блестящей коробочки. — Ну что ты все молчишь, Мить, а?

— Мажь, Соня, мажь, — мрачно говорил Митя.

— Да я мажу, мажу,...

— Ну-ка. — Митя отстранил Соню и посмотрел на себя в зеркало. Синяка видно не было, но щека саднила под гримом.

■

Маленький радист в высоком цилиндре ударил в гонг деревянным молоточком.

Декорация была прежней: и подставка для цветов, и кушетка, и «римская руина» сзади, только теперь сцена была ярко освещена, а букет в вазе — свеж.

Ерголина, в длинном белом платье, бессильно сидела в кресле. Митя стоял рядом.

— Как нынче скучно... — устало сказала Ерголина.

— Как же быть? — отвечал ей Митя.

«Маскарад». Акт третий, последний

В зале было битком народу. Свет притушен. Публика была смешанной: пионеры других отрядов, вожатые, родители, которые смогли приехать в этот вечер, деревенские.

— Чтоб не скучать с людьми, надо приучить себя терпеть их глупость и коварство, — продолжал Лопухин. — Вот все, на чем вертится свет.

— Ты прав ужасно, — тихо сказала Ерголина.

— Да, ужасно. Душ непорочных нету. Нет. Я думал, что нашел одну, и то напрасно...

— Что говоришь ты?

— Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал. Тебя...

— Ты бледен.

— Много танцевал.

— Опомнись, мон ами, ты с места не вставал.

— Так, верно, потому, что мало танцевал.

Зал безмолвствовал, в тишине было слышно Митино дыхание, когда он говорил.

Сережа и другие участники спектакля переживали за кулисами.

— О, ты меня не любишь... — едва слышно сказала Ерголина, на Митю даже не поглядев.

— А за что же? — спросил Митя просто.

Он не кричал, не строил лицом гримас. Говорил почти совсем спокойно, как обыкновенно старался говорить всегда, когда внутри у него все колотилось.

— Тебя любить? За то ль, что целый ад ты в грудь мне бросила? О нет, я рад твоим страданьям, боже, боже!

И ты, ты смеешь требовать любви! А мало я любил тебя, скажи? А этой нежности ты знала ль цену? А много ли хотел я от любви твоей? Улыбку нежную, приветный взгляд очей...

И что нашел? Возможно ли меня продать? Меня? За поцелуй глупца. Меня, который по слову первому был душу рад отдать? Ужель?

— Прощай, Евгений... — слабо сказала Ерголина. — Я умираю, но невинна... Ты злодей...

Зрительный зал ахнул.

Маленький радист вышел на сцену в своем цилиндре и трагически сказал:

— Давно хотел я полной мести и вот вполне я отомщен.

— Он без ума, счастлив, а я лишен спокойствия и чести, — печально сказал из глубины сцены Лунев.

Занавес медленно запахнулся.

А через несколько мгновений раздались жаркие аплодисменты зрительного зала. Все повскакали с мест. Ребята вытащили на сцену Сережу. Он смущенно раскланивался.

Старая смотрительница кинула на сцену букетик цветов.

Митя сомнамбулически поднял их и отдал Ерголиной.

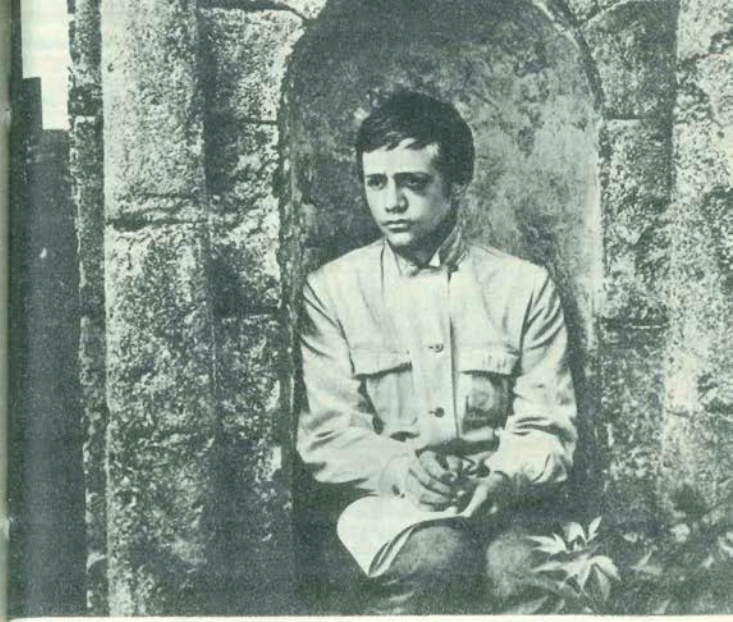
Ксения Львовна хлопала в ладоши, изредка утирая непроизвольные слезы.

Успех был полный.

Митя сидел в любимом своем месте, в нише запасных курепинских ворот, а вокруг него далеко простирались вечерние луга, оглашаемые печальными осенними криками сбивающихся в стаи птиц, и, казалось, не было конца этим лугам; там, далеко, на линии горизонта, они смыкались с небом, переходили в него и текли дальше, выше, достигая первых, по-осеннему ясных, словно вымытых звезд, полной луны, взошедшей над гребнем леса, с другой стороны они опять падали на землю, сливались с ней, и потому Митя чувствовал себя маленькой точкой в центре, песчинкой, окруженной вселенной.

На коленях у Мити лежала тетрадка, в руках был карандаш. Митя писал.

«Лена, — написал он твердо. — Я хотел бы тебе сказать о многом, о чем все время молчал. А лето уже кончается, и



времени остается совсем мало, и молчать дальше нельзя. Ты и сама видишь, наверное, как увядает трава и желтые листья попадаются на деревьях, потому что все на свете кончается.

Я хотел бы сказать тебе обо всем именно здесь, пока лето не кончилось и в старом парке все еще шелестят деревья. В их шорохе мне всегда слышится твой голос, и во всем, что окружает нас, я вижу только тебя одну.

Лена, я очень прошу тебя прийти к пруду, на купальню, туда, где я впервые увидел тебя. Говорю так, потому что никогда не видел тебя прежде, не знал, хотя мы и учились в одном классе. Я жду тебя там сегодня ночью, а если ты не придешь сегодня, то знай, что я буду ждать тебя каждую ночь, сколько бы их там ни осталось...

Вот и все.

Твой знакомый Дмитрий Л.».

Митя откинул голову к стене, и сколько он так сидел, не помнил.

...Услышав шорох, он открыл глаза.

Перед ним стояла фигурка в трепещущемся бледно-голубом платье.

— Это ты, Соня? — догадался он.

— Я, — отвечала она еле слышно.

— Как хорошо, что ты пришла, Соня, — сказал он.

Соня молчала, не двигаясь.

Митя свернул лист и протянул его Соне.

— Вот.

И она не поняла, чего он хочет.

— Что это?

— Это письмо, Соня. Передай его, пожалуйста.

— Лене? — догадалась Соня, и голос ее дрогнул.

— Да, — сказал Митя и откинулся к стене, полуприкрыв глаза.

— Хорошо, я передам, — покорно сказала Соня.

— Ты мне как сестра стала, Соня... — вдруг сказал Митя.

А Соня промолчала, не шевельнулась. Ее голубое платье трепал ветер. Мятущиеся ветки кустов задевали ее по плечам. Мите вдруг снова захотелось ее увидеть, он открыл глаза, но Сони уже не было.

■

Купальня была в густом предутреннем тумане, и доски ее были черны от росы. Ночь подходила к концу.

Воспитание чувств

Митя сидел на мокрой скамейке. Он был в легкой рубашке и полотняных брюках, но холода не чувствовал.

Сколько он сидел тут, он и сам толком не знал, только замечал, что медленно светает. Он увидел ее издалека. Хотя

еще темно было, но он сразу понял, что она идет, понял и не удивился.

Она была в коротком черном пальтишке и в спортивных тапочках на босу ногу. Руки она держала в карманах пальто.

— Ты все-таки пришла, Лена? — спросил он ее и встал.

— Да, — тихо ответила она.

— Лена!

— Что?

— Я хочу тебе сказать, Лена... — начал он.

— Не надо, Митя. Пожалуйста, не надо, — попросила Лена, и слезы потекли по ее лицу.

— Почему? — спросил он, ничего не поняв.

— Ну, я прошу тебя, пожалуйста, не надо. Так будет лучше...

— Если я не скажу тебе этого, Лена, я не смогу жить дальше...

— Господи, — вздохнула она и тыльной стороной ладони стала утирать слезы. — Как же ты измучил меня, Митя. А?

— Я? Почему? — едва слышно спросил он. Губы его склеились и шевелились плохо.

— Вот измучил! Ну... Ну посуди сам... Ну что я могу поделать? Я давно, я очень давно уже все вижу. Но разве я виновата, что Глеб есть? Что он мне нравится? Ну посуди ты сам, ну что я могу поделать?.. Что ты молчишь?

Митя не шевелился, не мог поднять на нее глаз.

— Ты хороший, добрый, я знаю... И что? — Она беззвучно заплакала, слез уже не утирая.

— Ты прости меня, Лена, — попросил он вдруг.

— Мне? Простить тебя? За что же, Митенька?

— Ты прости меня и, пожалуйста, уходи.

— Хорошо, я уйду. Только знаешь, Митя, я правда ни в чем не виновата...

— Уходи, пожалуйста, — попросил он еще раз.

— Хорошо, — сказала Лена и, повернувшись, пошла по мосткам.

Митя сидел, онемев.

Когда он поднял голову, маленькая фигурка еще недолго мелькала между деревьями, и Митя смотрел, не отрываясь, пока Лена не исчезла.

Потом Митя остался один.

Над рекой таял туман.

Где-то далеко пронеслась дальняя, может быть, первая электричка.

Вступили ранние птицы, значит, там, в полях, взошло солнце. Но здесь, у реки, все еще было прохладно и во всем чувствовалась ночь.

Митю начал трясти озноб, и он очнулся.

Почти рядом с ним, у деревянной будочки купальни, стояла замерзшая Загремухина в своем небесно-голубеньком платьишке с короткими крылышками-рукавами.

— Я везде искала тебя, Митя, — сказала она, печально глядя на него.

— Зачем? — спросил он глухо. Затем он встал и медленно приблизился к ней.

— Что с тобой, Митя?.. — испуганно спросила она.

— Со мной ничего. А вот что с тобой, Загремухина? — вдруг злобно крикнул он. — Что ты от меня хочешь? Ты что, Загремухина, мне мать, тетка?! Что ты меня опекаешь?

Соня стояла не шевелясь, лишь набегали на глаза непрошеные слезы.

— Может, ты жутко душевная? Может, ты меня пожалеть хочешь?! Может, ты вообще записку читала?

— Что ты плетешь, Лопухин? — горько сказала Соня. — Как же тебе не стыдно?

— А чего мне стыдиться? — взорвался он. — Не скажешь? Меня жалеть не надо! Заруби это, Загремухина, у себя на носу!

— Не смей орать на меня, Лопухин, — срывающимся голосом сказала Соня.

— Это еще почему?!

— Потому что ты дурак, Лопухин! — сказала Соня, и слезы потекли у нее по щекам, но она их не замечала. — Потому что я люблю тебя больше всех на свете.

— Как?! — спросил он ошарашенно и больше ничего не смог выговорить.

— А вот так! А ты? — с горечью сказала она. — «Загремухина, ты жутко душевная». Эх, ты! Недотепа. Ой, мамочки, — схватилась она за щеки, а потом закрыла себе лицо. — Что же это я говорю?!

Загремухина отвернулась от него, приникла к дощатой стенке купальни и разрыдалась.

Он подошел к ней, хотел взять за плечи, успокоить, но почему-то не решился и только стоял рядом, тупо повторяя:

— Я не знал, Соня! Ну, я не знал, слышишь? Ну, я правда не знал...

Теперь они вдвоем сидели на пляже, там, где некогда настиг его солнечный удар, слушая, какая огромная вокруг была тишина.

Туман исчез. Ночь истаяла.

— Что же нам теперь делать? — спросила Соня, а он ответил не сразу, смотрел, как медленно скользит в воздухе перед глазами легкий осенний пух.

— Ты знаешь, Соня, — сказал он тихо, — я думаю, что делать нам ничего не надо.

Они сидели рядышком на лежаке, поджав под себя ноги, и друг на друга не смотрели. Казалось, каждый думает о своем, но все же они слышали друг друга.

— Как?! — спросила Соня.

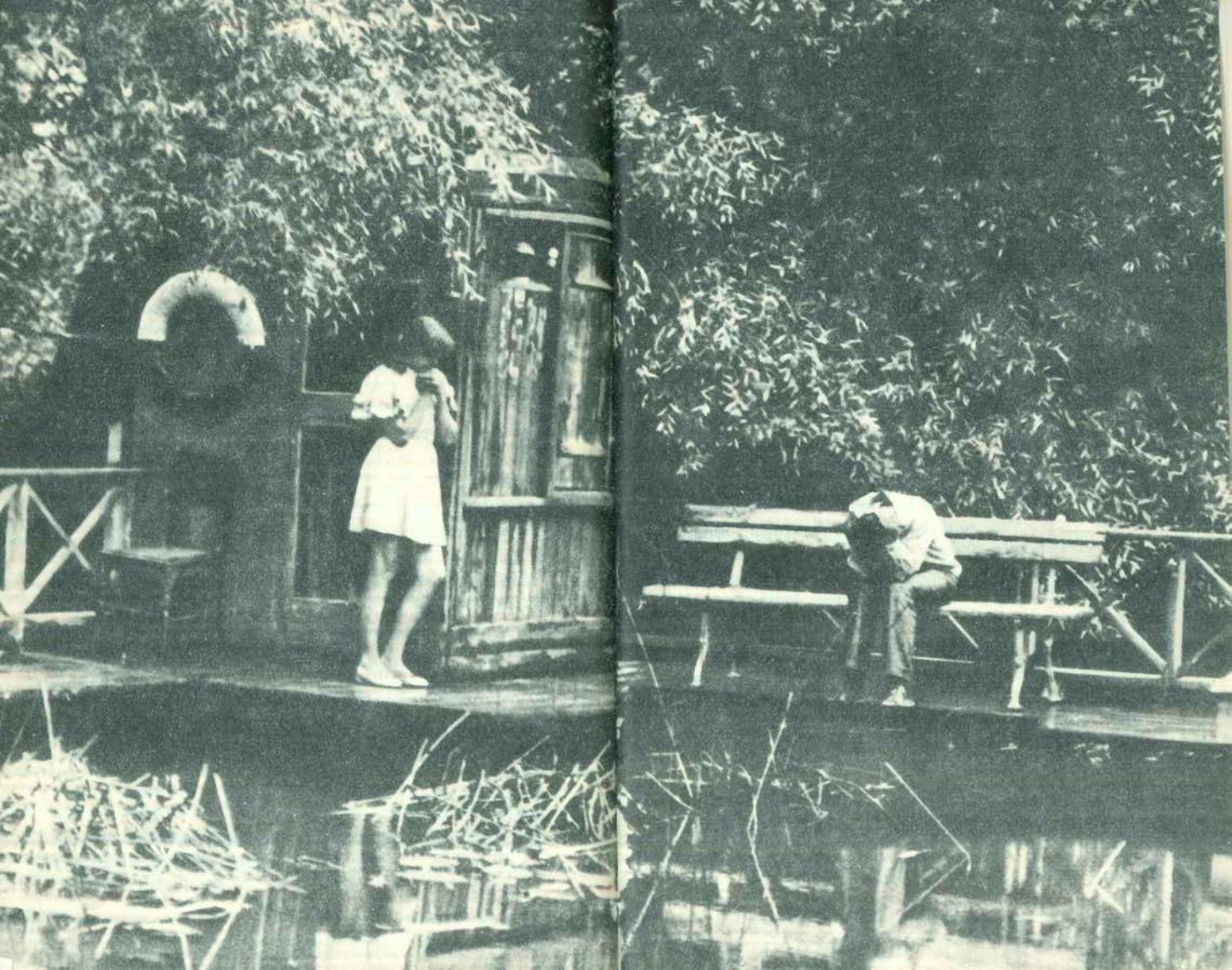
— Помнишь, Сережа нам рассказывал про Джоконду?

— Помню, — как эхо отвечала ему Соня.

— Ведь никому от нее ничего не надо. Ведь верно?

— Верно.

— Помнишь, Сережа сказал, что надо смотреть на нее долго, запомнить ее всю и потом носить с собой целую жизнь. И тогда все будет хорошо.



— Что будет хорошо? — словно издалека спросила Соня.

— Все, — сказал Митя твердо, и Соня почувствовала, что он в это верит. — И нам ведь друг от друга ничего не надо. Верно?

— Да, — едва слышно ответила она.

— Давай и мы с тобой просто запомним это лето. Просто запомним, и все. Ладно?

— Ладно... Давай...

Яркое солнце золотило осенние луга. Купол высокого, пронзительно синего неба нависал над ними.

Среди нескошенной, пожелтевшей на корню травы бежал Фуриков в своей вечной замызганной шляпе с поблекшей за лето голубенькой ленточкой, держа в руках конец нитки. Иногда он оглядывался и смотрел в небо, где, набирая высоту, плавал воздушный змей, громко вереща в воздухе трещоткой.

Кто-то бежал рядом с Фуриковым. Остальные ребята, собравшись вместе на высоком бугре, следили за змеем.

Рядом стояли их чемоданы с наклейками, теперь уже совсем не нужными, потому что ребята уезжали по домам.

А змей плясал в небе, ходил из стороны в сторону, пытаясь оторваться, но Фуриков на земле ловко управлял им, подергивая за веревочку...

Все молчали, и каждый думал о том, что жизнь еще не кончена, что все впереди, а это все всего лишь ее самое начало.

Змей все парил в воздухе, медленно растворяясь в солнечных лучах...

Фильмографическая справка

«Сто дней после детства». Производство киностудии «Мосфильм», 1975. Авторы сценария А. Александров, С. Соловьев. Режиссер С. Соловьев. Оператор Л. Калашников. Художник А. Борисов. Композитор И. Шварц.

Роли исполняют:

Б. Токарев (Митя Лопухин), Т. Друбич (Лена Ерголина), И. Малышева (Соня Загремухина), Ю. Агилин (Глеб Лунев), А. Звягин (Саша Лебедев), С. Хлебников (радист), Н. Меньшикова (Ксения Львовна), С. Шакуров (Серёжа), Ю. Сорокин (Фуриков).

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Арнштам. Лицо поколения 5
А. Александров, С. Соловьев. Сто дней после детства . . 11
Фильмографическая справка 103

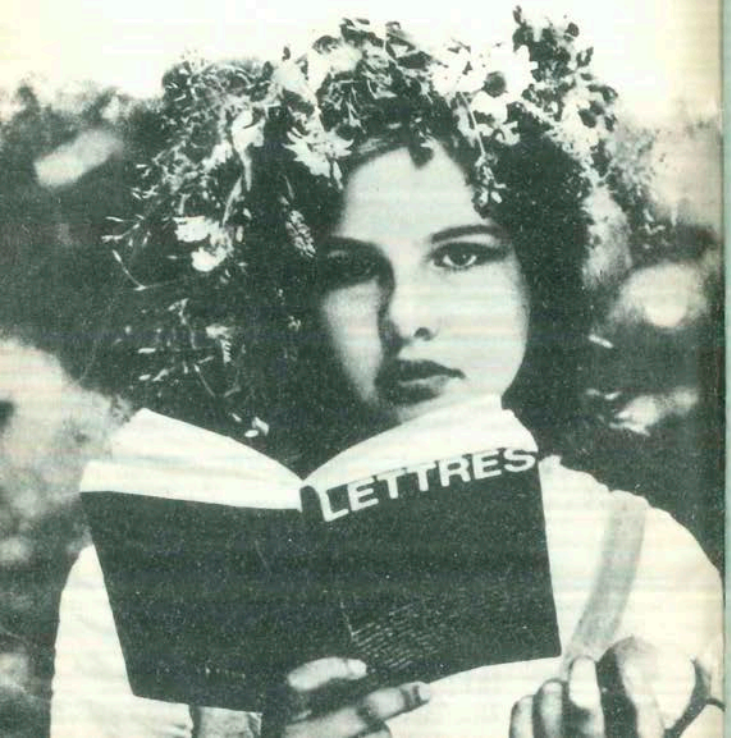
Александров Александр Леонардович

Соловьев Сергей Александрович

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА

Редактор *И. Н. Владимирцева*. Художник *Г. К. Александров*. Художественный редактор *И. С. Жихарев*. Корректор *Т. И. Иванова*. Технический редактор *А. Н. Ханина*. Сдано в набор 8/VI 1976 г. Подписано к печати 8/X 1976 г. А10592. Формат издания 70×90 1/32. Бумага тифдручная. Усл. печ. л. 3,803. Уч.-изд. л. 5,292. Изд. № 15290. Тираж 30 000 экз. Заказ 1880. Цена 28 коп. Издательство «Искусство», 103051 Москва, Цветной бульвар, 25. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат «Союзполиграфпрома» при Государственном Комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

Соловьев Сергей Александрович родился в 1944 году в г. Кемь (Карельская АССР). После окончания средней школы был рабочим. В 1963 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Еще студентом начал работать как сценарист. В 1965 году по его сценарию на Ленинградской студии кинохроники был поставлен фильм «Взгляните на лицо» (почетный диплом Лейпцигского фестиваля, 1966). С 1969 года работает на киностудии «Мосфильм». Он является автором сценариев и режиссером фильмов «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам А. Чехова, «Егор Булычов и другие» по пьесе М. Горького. Его фильм «Станционный смотритель» по повести А. Пушкина был удостоен Главного приза на Венецианском фестивале телевизионных фильмов (1974).

Фильм «Сто дней после детства» награжден призом за лучшую режиссуру на XXV Международном кинофестивале в Западном Берлине (1975), получил Главный приз на Международном кинофестивале фильмов для детей и юношества в Белграде (1976), серебряную медаль на Международном кинофестивале в г. Авелино (Италия). Фильму присуждена Главная премия IX Всесоюзного кинофестиваля в г. Фрунзе (1976).

28 коп.